

65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

**АЛЕСЬ САВИЦКИЙ**



## ЛЕСНАЯ ПРИСТАНЬ

РОМАН

Настя открыла глаза, испуганно глянула в окно.

Нет, не приснилось: снова, как вчера, когда эшелон обстреляли фашистские самолёты, хрипло и натужно кричал паровоз. Но, кажется, не слышно пронзительного рёва моторов, только глухо татакают колёса, поезд мчится бешено, словно убегает от широких и колючих лучей огромного огненного солнца, которое провалилось в чёрную нору между трубой одинокой хаты и коньком высокого сеновала, крыша какая-то чёрная, и такого же цвета крыша сеновала, а конёк на ней удивительно блестящий, с острыми, как лезвие, краями, и солнце на нём как будто плавится.

— Что, доченька? — сказала мать, её голос был похож на далёкое невыразительное эхо. — Станция горит?

— Нет никакой станции, мамочка, и пожара нет. Это солнце садится. Хутор под лесом вижу, там оно и садится.

---

*САВИЦКИЙ Александр Онуфриевич (Алесь Савицкий) — ветеран Великой Отечественной войны, командир подрывной группы партизанского отряда “Большевик” и участник взятия Берлина. Известный белорусский писатель, в своих произведениях раскрывший героические и трагические события Великой войны. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живёт в Минске. Новый роман писателя “Лесная пристань” публикуется в журнале при участии Международного общества писательских союзов (МСПС).*

---

Перевод с белорусского Нины Чайки.

— На хуторе, может, водичка есть. Побегу, дочушка, если недалеко, ох как хочется пить.

— Остановится поезд, тогда и принесу, а сейчас никак не получится, поезд, видишь, как мчится.

— А ты Павлика попроси, он принесёт.

— Мамочка, какой тебе Павлик?

— Да вот же Павлик — стоит рядом с тобой. Павлик быстрый, мигом принесёт.

— Грач не едет с нами, мама, он только нас в вагон посадил, а сам поехал в машине.

— На какой машине, зачем ты меня обманываешь? Вот же он стоит рядом с тобой.

Настя поняла, что мать бредит...

Она слышала вагонный шум, и татаканье колёс, и сильный гудок паровоза, и голос своего отца, он что-то быстро говорил им обеим, на ходу застёгивая ремни новенькой портупеи, поправляя гимнастёрку и одновременно давая какие-то советы. Она видела мать, которая, словно раненая птица, металась по комнатам, и слышала, как с сухим шипением плавится красное огненное солнце, засевшее между трубой хуторской хаты и коньком сеновала. До неё доносился весёлый голос Павла Грача, который заговорщицки грозил ей скрученной в руке пилоткой: нельзя стоять у кабины. И снова отец искал что-то в письменном столе, повторяя одни и те же слова: это война, это война!

И вот Настя уже не в вагоне поезда, а в машине, которая катит по просёлочной дороге. Только не понимает, почему этот молодой военный по фамилии Грач недоволен ею, почему требует, чтобы она не стояла около кабины, а сидела на соломе и помогала трём раненым красноармейцам. Один из них, в комсоставовском галифе, запylённых хромовиках и в гимнастёрке с оторванным воротником, всё пытается приложить забинтованную руку к кобуре, беспомощно висящей на ремне с широкой медной пряжкой.

Он благодарно принял помощь, внимательно следя за каждым её движением, потом поблагодарил, назвав по имени-отчеству. Настя очень удивилась, откуда этот военный знает её? Но расспрашивать было как-то неудобно, потому что офицер, который только что назвал её по имени-отчеству, вдруг откинулся к борту машины, опрокинул голову и закрыл глаза, словно глубоко уснул.

Грач засунул свою пилотку за ремень, наклонился над Настей, нахмурил густые чёрные брови:

— Ты что, политрука нашего знаешь?

— А это у него надо спросить, откуда он меня знает.

Чёрные глаза Грача вспыхнули подозрительно, голос его прозвучал строго и сухо:

— Черкас его фамилия, — он замолчал, поджав губы, словно сказал лишнее, о чём не следовало говорить.

— С Клавой Черкас мы в институте учимся. У неё брат Андрей. Я это хорошо знаю.

— А документы у тебя есть? — как-то неуверенно спросил Грач.

— Документы? Они у мамы в сумочке.

Грач, пытаясь заглянуть в кабину, наклонился за борт, но в это время машину тряхнуло на выбоине, он упал на солому рядом с Настей, заглянул в её глаза и весело рассмеялся:

— У меня даже душа в пятки ушла: неужели не семью Стрижакова, военкома своего, а кого-то другого ты, товарищ Грач, в горячке прихватил. Да меня за эту ошибку...

— Нет, вы не ошиблись, вы прихватили кого надо. Как же мама обрадовалась, когда вашу машину увидела! Мы уже всякую надежду потеряли, хотели на станцию пешком идти.

— Ну что ж, раз так, значит, вы спаслись.

И Грач так легко вздохнул, что Настя впервые за это утро улыбнулась. Но тут же смутилась, встретив радостный взгляд раненого. Она узнала эти

большие синие глаза и, всё ещё не веря неожиданной встрече, вскрикнула, не скрывая своего волнения:

— Андрей! Это же чудо какое-то. А я не сразу узнала вас.

...В институте отмечали Международный женский день. Как всегда, было много молодёжи. Андрей приглашал её на все танцы, а в конце вечера попросил разрешения проводить домой.

Какая ошеломляющая тишина стояла на улицах! Весна была на диво теплой, с Двины дул ласковый ветерок, рядом с ней был красивый молодой человек, и сердце билось в предчувствии чего-то необыкновенного...

Вдруг Настя почувствовала, что Грач не слушает её, он весь напрягся, что-то отвлекло его. Неожиданно из-за берёзовой рощи вынырнул самолёт со свастикой на крыльях, казалось, он вот-вот врежется в них.

— Стой, воздух!

Грач стучал по кабине, приказывая шоферу остановиться. И, не ожидая, когда тот остановится, прыгнул вниз, буквально выхватил Настю из кузова, затем стал помогать её матери. Настя видела всё, что происходило в машине. Один из раненых беспорядочно стрелял, Грач тоже, прислонившись к кузову, старательно вёл прицельный огонь по немецкому самолёту.

Настя от испуга бросилась к матери, та инстинктивно прижала её к себе, стараясь защитить. Земля содрогнулась, где-то рядом раздался оглушительный взрыв, и одновременно с ним Настя услышала дружное “ура”.

Грач подбежал к реденькому беловатому кусту лозы, под который толкнул Настю с матерью. Размахивая руками, он возбуждённо кричал:

— Ты видела, я ссадил его, он упал, он горит!

Над берёзовой рощей, в той стороне, где ещё недавно ехала их машина, поднимался широкий крутящийся шлейф дыма. Все смотрели в ту сторону.

— Он был подбит раньше, — неожиданно прозвучал голос Андрея, — потому и не обстрелял нас. Не до того было.

— Нет, это я его ссадил, — взвился Грач. — Я целился прямо в лётчика, даже морду его видел. С такого расстояния невозможно промахнуться, — и Грач, высоко подкинув винтовку, ловко поймал её в воздухе.

Шофёр, стоя на подножке машины, нервно требовал:

— Надо ехать, надо ехать!

И снова бил в лицо ветер, развевая волосы, и Настя, стоя на коленях в кузове, всё время приглаживала их рукой.

Напротив деревянного станционного строения стоял поезд, переполненный беженцами. Нечего было даже пытаться влезть в него, но это совсем не смутило Грача. Он высадил Настю с матерью около низенькой чугунной ограды, над которой нависла серая от пыли акация, приказал сидеть и ждать его.

Вдруг шумно засопел паровоз, и почти одновременно с его гудком в конце привокзальной площади появилась знакомая полторка. Поднимая светлую пыль, она подкатила к ограде и остановилась в реденькой тени старого тополя. Из кабины выскочил Грач, схватил узлы:

— Бегом! Бегом!

Пробежав узенький перрон, он нырнул под вагон, и снова побежал, смешно подпрыгивая на шпалах. Настя с матерью едва поспевали за ним. Вот он остановился в тупике около пустого обшарпанного вагона.

— Скорее залезайте, — командовал Грач, бросая в тамбур узлы. — Сейчас этот вагон подцепят к составу.

— Ваши раненые тоже тут? — спросила Настя.

— Нет, они в госпитале, здесь неподалёку полевой госпиталь.

Грач быстро побросал вещи в вагон, подошёл к Насте, сжал её руку и, пронзительно глядя в глаза, будто вбивая в её сознание каждое слово, произнёс:

— Кончится эта круговерть, я найду тебя. Слышишь, я найду тебя в твоём институте. Ты меня поняла?

Настя кивнула головой. Вскочив в вагон, она рванулась к окну, чтобы увидеть Грача, но тот словно провалился сквозь землю, а к вагону уже рвалась шумная, обезумевшая толпа. Настя не успела опомниться, как людская

волна оторвала её от окна и поволокла вглубь вагона. Мать едва успела схватить её и втянуть в купе, которое через миг было переполнено беженцами...

На рассвете её разбудил шум колёс. За окном мелькали деревья, кусты, придорожные столбы. Мать спокойно посапывала, пристроившись на узлах. И Настя, глядя на неё, снова уснула.

Проснулась она от какого-то непонятного, страшного шума. В вагоне была жуткая паника, его сильно бросало из стороны в сторону, безумно татакали колёса, надсадно и отчаянно гудел паровоз. Матери рядом не было. Настя бросилась её искать и быстро нашла в конце вагона. Мать была бледной, растерянной. Какая-то женщина перевязывала ей ногу...

Мать снова застонала:

— Воды, воды, мне так пить хочется, доченька, дай мне бутылочку.

— Пустая бутылочка, мама, давно пустая. Я у людей просила, но воды ни у кого уже нет. — Сердце Насти переполняла жалость и невыносимая боль. — Как только остановится поезд, я найду воду, налью и бутылку, и бидончик. Потерпи ещё немного.

Поезд снова резко дернулся, затрещали рамы, пополз едкий сероватый дым, где-то недалеко послышались глухие взрывы. Началась паника, крики:

— Бомбят! Самолёты! Надо бежать из вагона!

Мать приподнялась, глаза её были широко открыты, голос звучал рассудительно, без паники, спокойно:

— Беги из вагона, доченька. Только беги в лес, чтобы не на открытом месте.

— Мама, это кому-то показалось спросонья. Вот все и бросились.

— Но ведь мы стоим? Правда ведь?

Настя поправила повязку на ноге матери, глянула в окно:

— Да, мы остановились, и почему-то в чистом поле. Хотя нет, на той стороне насыпи вижу хутор.

Настя пыталась говорить спокойно, но это ей не удавалось. Теперь, когда состав остановился, в вагоне просто нечем было дышать.

Шум усиливался. Люди рвались к окнам, дверям, пытаясь понять, что происходит на насыпи. Настя вскочила и бросилась к выходу. Но мать остановила её:

— Никуда не пуццу!

— Но ты же просила воды. Я наберу около моста.

Вот и спасительная дверь. Она глянула вниз и поняла, что придётся прыгать, а там, на насыпи, в панике навстречу друг другу рвалась людская волна. Вцепившись в холодные поручни, Настя повисла на некоторое время, затем, зажмурившись, бросилась вниз, словно в бездонную пропасть... Потом кинулась бежать, кубарем скатилась вниз, затем быстро векарабкалась по крутому откосу, на котором росли реденькие сосенки. Пробежав вдоль ровного клина жёлто-белой ржи, продралась сквозь узкий лаз молодого боярышника и увидела колодец. Но тут прямо на неё пошёл здоровенный верзила с граблями в руках, в рваной рубашке и чёрных штанах, залатанных на коленях.

— Куда? — выверился он. — Прут как ненормальные, и все к моему колодцу...

— Мне капельку, — Настя подняла бидончик и показала ему.

— Там, — мужчина показал граблями в сторону зарослей боярышника, посмотрел зло, даже с ненавистью. — На дорогу выскочишь, беги по ней, сверни влево, упрёшься в ручей, вода в нём чистая.

И Настя снова побежала, пробираясь сквозь густо растущий боярышник. Его острые как иглы колючки ранили ноги, цеплялись за подол юбки, но она не замечала этого, бежала и бежала...

Заросли кончились внезапно, и открылась просёлочная дорога. Свежий колёсный след вился между серыми камнями.

Вот и ручей: перегороденный на две части каменной плотиной, плещется под старой разлапистой вербой. Настя кинулась к нему и стала быстро набирать бидончик, другой рукой жадно черпала прозрачную воду, чтобы самой утолить невыносимую жажду. Вода была холодной и мягкой на вкус.

Напившись, она рукой долила бидончик до краёв, плотно закрыла его, затем опустила в ручей бутылку. И только тут оглянулась... Как же здесь хорошо, тихо и прохладно! Настя опустила уставшие ноги в ручей, вода ласкала и придавала им силу. Она забылась и словно оцепенела от этой прохлады и от тишины, которая стояла вокруг...

В той стороне, где был железнодорожный состав, пронзительно-длинно загудел паровоз.

Настя сразу всё поняла и не своим голосом закричала:

— Эшелон! Наш эшелон уходит!

Выскочив из воды, подхватив сандалики под мышку, Настя босиком бросилась бежать к поезду.

Паровоз снова коротко свистнул, заскрежетали вагоны, состав медленно вздрогнул и стал набирать скорость. Настя увидела движущийся состав и поняла, что поезда ей уже не догнать.

— Остановитесь! Подождите! Там моя мама!

Она так надрывно и громко кричала, что сама испугалась своего голоса. Её крик вернулся к ней незнакомым эхом, за которым слышались страшные взрывы.

Вслед за разрывами она увидела самолёты, которые пронзили жёлтое небо, чёрные кресты высветились на их крыльях, а страшный гул подтвердил, что они только что сбросили свой смертоносный груз, который у неё на глазах разворотил насыпь и, словно щепки, разбросал в разные стороны вагоны...

Земля вздрогнула и закачалась под ногами. Настя упала, потеряв сознание.

Птаха весело скакала по веткам боярышника, косо поглядывая на Настю, словно хотела понять, почему и зачем лежит здесь, в её владениях эта красивая девушка, почему не шевелится, не открывает глаза?

— Где это я? — Настя удивилась, как странно звучит её голос. Птаха быстренько юркнула под ветку и замерла, наклонив головку набок...

“Бежала, эшелон бомбили... Меня чем-то ударило, бросило на боярышник, потом на камень, кажется...”

Настя сидела на краю глинистого косогора, который был буквально усыпан чем-то белым, и с ужасом смотрела на искорёженные рельсы, сиротливо черневшие на шпалах. Смотрела, не узнавая местности, не понимая, куда она попала. Вагонов нет. Только по луговине разбросаны какие-то тряпки, кастрюли, чемоданы, одним словом, всё то, что совсем недавно было с трудом размещено в вагонах, и чем люди так дорожили. Всё вокруг тонуло в какой-то непонятной туманной мгле, в горло лез удушливый запах гари. Немного ближе, по правую сторону насыпи, громоздился железный лом, в который, словно глаза какого-то страшилища, вдавлены чёрные колеса — по парам, словно связанные или посаженные на чёрные большие штыри...

Настя бросилась вниз с косогора, вскочила на насыпь, но правая нога вдруг соскользнула со шпалы, провалилась в мелкий песок и подвернулась, словно переломилась, и Настя плашмя упала на рельс. Надо было спешить, Настя с трудом поднялась и, прихрамывая, медленно пошла по шпалам.

Она брела по насыпи, на которой лежало вместо четырёх всего лишь два рельса. Внизу чернели глубокие ямы-воронки, в которых белели какие-то тряпки, бумага, скрученные лохмотья, чернели разодранные чемоданы. Вдруг лохмотья зашевелились, или ей это показалось, из них высунулась чья-то рука, пальцы шевелились, словно кто-то там, в этой яме, звал Настю...

Она отвернулась от этой шевелящейся руки; бежала, тяжело дыша, изредка начинала считать шпалы и тут же бросала, потому что это отвлекало её, мешало следить за тем, что происходит вокруг. Вдоль насыпи стоял всё тот же сосняк, как прежде густой и чёрный, над которым завис узкой полосой светлый полог. Незаметно полог расширился, приблизился, и Насте показалось, что впереди, совсем близко, движется что-то тёмное...

“Вагоны! Я догнала поезд!”

Настя бросилась вперёд, пробежав несколько шагов, остановилась, словно наткнулась на что-то острое — перед ней стояло небольшое деревянное строение. Не поезд это вовсе, и нет здесь никаких вагонов, — будка стрелочника одиноко горбилась около насыпи. Откуда здесь переезд? Но ведь ей это не кажется, перед ней действительно железнодорожная будка.

— Есть кто-нибудь?

Дверь тихо скрипнула, и Настя, вздрогнув, прижала к груди холодную бутылку. От неожиданного прикосновения по всему телу поползли мурашки, сердце испуганно забилось:

— Есть тут кто-нибудь? — повторила Настя, теперь уже неуверенно и с тревогой.

Ветер с насыпи сюда не долетал, но дверь снова приоткрылась, на этот раз медленно и беззвучно. С правой стороны будки послышался вначале далёкий приглушённый гул моторов. И там же, за макушками деревьев, но, правда, далековато, она увидела две яркие вспышки.

“Самолёты повесили ракету. Так было и вчера... А потом бомбили...” Сердце сжигала горечь — какую-то будку за вагоны приняла! Настя следила за осветительными ракетами и чувствовала, как сгорает, исчезает в душе надежда. Что ждёт её тут, около этой будки!? А вдруг в будке сидит злодей?.. Ракеты скользнули последний раз по макушкам деревьев, и будку со всех сторон окутала темнота. Но вот огненные шары выплыли из ночной темноты снова, и оттуда, будто из-под земли, стали нарастать глубинные взрывы, земля под ногами вздрагивала, словно качалась на волнах.

Тревога скрутила больно и остро. Но теперь тревога шла не из раскрытой настежь двери, а из-за леса, из той жуткой, опалённой огнём выси. Осветительные ракеты уже не раскачивались, а быстро и ровно ползли над лесом и вдруг остановились, уселись на верхушки деревьев. “Надо в будку! Там спасение!”

Кровавый огонь угасал за окнами, но в будке становилось светлее — глаза обвыклись в темноте, и она стала оглядываться. У окна — узенький столик, справа от входа, около стены, — короткая скамейка. Настя присела на скамейку, вздохнула и вдруг почувствовала сильный запах хлеба. Только теперь поняла, что не ела с тех пор, как они с матерью отправились в эту дорогу, которая так странно окончилась для них да и окончилась ли ещё?! А вот и хлеб, на столике, под газетой, хорошая такая горбушка. Торопливо, отламывая кусок за куском, Настя жадно глотала, не разжёвывая, удивляясь тому, что впервые в жизни ест такой необыкновенно ароматный, вкусный хлеб.

“А где — знать бы! — Грач теперь?”

Настя прижалась к холодному стеклу, стала всматриваться в угасающее зарево. Рельсы блестели холодным светом, они словно приподнялись над землёй, и вдруг над ними метнулись тени.

“Волки! Это же волки!..”

Стараясь разглядеть, что происходит там, на насыпи, Настя сильно прижалась лбом к стеклу. С треском отлетела пересохшая замазка, стекло со звоном рассыпалось под окном будки. Чёрные тени метнулись, словно подскочили на тёмной полосе насыпи, и исчезли в молодом сосняке.

Осмелев, Настя высунула голову из окна. На желтеющем небе не было видно ни одной звезды, начинало светать. На лицо, словно мокрая марля, упала холодная морось. Как хорошо, что на её пути оказалась эта будка, которая, быть может, уберегла её ещё от одной страшной беды — встречи с волками.

Думая о том, что всё сделала правильно, Настя окончательно успокоилась, села на скамью, прислонилась к стене. Скамейка была жёсткой, стена холодной, но её надёжность расслабляла, страх постепенно исчезал. Она забылась смутным и тревожным сном...

И вот снится ей куст беловатой лозы, под который толкнул её Грач. Смелый, решительный этот лейтенант. Но ведёт себя как-то странно, всё словно о чём-то просит. А смотрит в сторону, на реденький забор из длинных черных штакетин. Забор весь сломан, ворота в чёрных проломах. Вишняк за

забором весь согнутый, перекрученный, листья коричневые, и позванивают, словно из жести. За вишняком пепелище, посреди которого торчит высокая, внизу и вверху чёрная, а посередине белая труба. За вишняком на пепелище ходит и ходит, словно привязанная, какая-то женщина. И одежда на ней знакомая, забинтованная нога....

— Мама! Мама! Мама!

Кажется, позвала громко, настойчиво, но та не отозвалась, даже не вернулась, а медленно пошла в конец сада, где чернели заросли боярышника. Оттуда выполз маленький, как игрушка, железнодорожный вагон, красная его крыша маслянисто блестя. Грач толкает этот вагон, он катит его прямо к пепелищу.

Мать идёт навстречу Грачу, говорит ласково:

— Спасибо тебе, Павлик! В счастливый вагон ты нас посадил: ни одна бомба его не зацепила...

Настя встрепелась, будто и не спала. Она напряжённо вслушивалась в частый стук испуганного сердца. Какой странный и удивительный сон! Сколько же она спала? Уж очень светло в будке. Значит, ночь прошла. На переезде слышатся торопливые приглушённые голоса. Там кто-то есть, и они о чём-то спорят.

Придвинувшись к окну, Настя увидела подводу, потом другую, которая медленно выползала из густого тумана, а поэтому была едва заметной. Она испуганно отпрянула от окна, но это движение было мгновенно замечено.

— Эй, там, в будке! Не прятаться, бегом ко мне!

Через разбитое ночью стекло Настя смотрит на человека, который шёл к будке.

— Кто там, Шаплько? Веди сюда, пусть дорогу покажет.

Не приказ ошеломил, а голос, долетевший с переезда. “Грач это!”

Настя бросилась к переезду, остановилась около первой подводы. Где же Грач? Или ей всё это показалось? Нет, не показалось, вон он стоит около второй подводы.

Грач оторопело смотрел на Настю. Были в его взгляде и радость, и удивление, и непонятная боль, и жалость.

— Не чудо ли это!? Как ты здесь оказалась?

Он положил каску на подводу, на которой устранив горбился пулемёт, какие-то предметы и вещи явно военного назначения, тут же в повозке лежали раненые.

Насте хотелось рассказать, о том, что приключилось с ней вчера, что пережила она ночью в этой заброшенной будке, о маме, которая едет сейчас в уцелевшем под бомбёжкой вагоне.

Но мысли путались, слова насакивали друг на друга, она чувствовала, что не может спокойно рассказать обо всём, что приключилось с ней, и оттого ощущала себя глупой и смешной.

Но Грач, кажется, ничего этого не замечал, что-то другое, более важное, занимало его внимание. Слушая сбивчивый Настин рассказ, он бросал взгляд то на блестящие в утреннем свете рельсы, то на тёмный бор, в котором выразительно высвечивались толстые стволы сосен. Туда, под спасительные лесные чащи сворачивает с просёлочной дороги узкая зелёная тропка, и Грач показывает на неё рукой:

— Двигаемся по ней! Лабук и Зуев — в голову колонны! Обо всём медленно докладывать! Шаплько — на дорогу!

— А зачем в лес сворачивать? — искренне удивилась Настя. — Почему не по этой, наезженной? Ведь она, как мне кажется, — на Полоцк?

— Разве не слышишь? — Грач глянул на Настю, как ей показалось, даже с раздражением: — Ты что, не слышишь: гудят машины. По лесу машинами они не больно-то разгонятся.

Настя только сейчас уловила едва слышный шум моторов, снова посмотрела на Грача, не скрывая удивления.

— А зачем убегать от машин? На машинах мы быстрее до станции докатим.

Рукавом гимнастёрки Грач вытер потный лоб.

— Мы со станции той еле ноги унесли — там фашистские танки хозяйничают.

— Танки? Откуда танки? Там же наш поезд ещё вчера был?

И столько удивления и недоверия было в её широко раскрытых глазах, что Грач, горько усмехнувшись, осторожно и деликатно потянул Настю за руку, чтобы конь не спихнул её с дороги, и только тогда заговорил:

— Ты будто с неба свалилась. Танки прорвали фронт и где-то уже за Двиною. Теперь наших догонять надо и догоним ли!..

Всё, о чём говорил Грач, Настя просто не могла понять. Потому что ещё жила своими заботами, своей болью, разлукой с матерью. Она не только не могла осознать смысл его слов, но ещё и, не доверяя им, пыталась отыскать разумное объяснение всему услышанному. Обманывает или преувеличивает? А может, обманывает, чтобы просто посмеяться над ней. Но если хоть толика правды есть в словах Грача, все её планы догнать эшелон, в котором была мама, завершились полной неудачей.

И, словно протест, неизвестно кому адресованный, вырвалось:

— Но я должна догнать поезд. Мне его надо найти! Надо! Там моя мама.

Грач внимательно всматривался в лесной прогал, в котором терялась просёлочная дорога.

— Ты теперь не бросайся во все стороны. Держись нашей колонны. С нами пойдёшь...

— Вы люди военные. А я что, студентка медицинского института. К тому же мне надо искать маму...

Грач снова посмотрел на неё с болью и укором:

— Идёт война. Мы теперь все военные люди. И по закону военного времени считай себя мобилизованной. Врач нам сейчас ох как нужен, разве не видишь, сколько у нас раненых.

— И что будет дальше?

— Если бы я знал, что там за поворотом, а ты спрашиваешь — дальше!

И, поправляя чёрную кобуру, Грач мягко заметил:

— Ты только не грусти: найдётся твоя мамуля. Вот прорвёмся к своим, раненых — сразу в госпиталь, там и маму свою найдёшь. Судя по тому, что ты мне сказала, эшелон успел проскочить Двину до того, как там появились фашисты.

— А если не проскочил?

— Давай надеяться, Настя. — Грач резким движением снова поправил кобуру. — Верить надо, иначе как же нам дальше быть. И знаешь, что я тебе скажу, если кого-то ищешь, обязательно встретишь, обязательно найдёшь.

В словах Грача было желание взрослого человека успокоить разволнованного ребёнка, который мешает ему принять важное решение. В глубине души она понимала, что он только напускает на себя командирскую строгость, за которой пытается скрыть всю серьёзность ситуации и собственную неуверенность, и делает всё, чтобы его товарищи не заметили этого.

Настя думала так, глядя, как Шаплько неторопливо, словно в раздумье, шагает по правую сторону лесной дороги. Он то появлялся, то исчезал за стволами сосен, и это создавало иллюзию, будто он играет с ними в прятки. Натужно скрипят колёса подвод — они тяжело нагружены. На первой едут четыре раненых бойца да пулемёт ещё. На второй — только двое раненых, но она сильно нагружена какими-то тяжёлыми ящиками. У одного раненого, который держит вожжи, перевязана шея, другой лежит на животе, уткнувшись носом в клевер, — руки и ноги целые, не забинтованные. Под клевером что-то спрятано, какой-то ящик, и тот, что держит поводья, придерживает его, словно боится, что он свалится с подводы. Оказывается, и Грач ранен. А она даже не заметила. Теперь, когда он поднял руку, поправляя волосы, Настя увидела бинты в красных пятнах засохшей крови. Наверное, ранено плечо.

— Действительно, ты свалилась с неба. — Грач вздохнул. — Неужели ты думаешь, что в их руках игрушки? Стреляет, между прочим, немец метко! Так что нам, как сказал Черкас, здорово повезло.



— Я даже не спросила, как вы тогда доехали до госпиталя?

— Можно и хуже, да некуда...

— Вы с Черкасом тогда в госпитале расстались?

— А мы с ним и не расставались, и теперь вместе. Как братья везде, всегда вместе. Вон он, справа от пулемёта лежит.

Она не бросилась к подводе, не вскрикнула от удивления, а только метнула испуганный взгляд на человека, который лежал справа от пулемёта. И не Черкас это совсем: голова его лежала на перетёртой соломе, ноги странно поджаты, в грязных, с порванными голенищами, сапогах.

Испуганно сжалось сердце, горло словно обхватило цепью. Она шла рядом с Грачом, боясь глянуть в его глаза, слушала его прерывистый рассказ о том бое на станции, куда ворвался фашистский десант, как немцы расстреливали раненых бойцов, которых грузили в санитарный вагон, как сгорела их полуторка, как удалось им вырваться живыми из-под пулемётного и миномётного огня, как посчастливилось найти эти подводы...

Снова послышался — теперь не сзади, а где-то с правой стороны, едва уловимый отрывистый гул моторов. Грач замолчал. Он оглядывался, вслушивался, время от времени прикусывая от напряжения губы, и Настя, встретившись с его напряжённым взглядом, почувствовала себя неуютно, словно только она одна виновата в том, что Грачу приходится так беспокоиться и волноваться.

— Вы простите меня, что я всё расспрашиваю и расспрашиваю.

— А ты не расспрашивай. Смотри и слушай. Теперь только это и может спасти... Так же, как они, — он кивнул в сторону подвод и добавил, понизив голос: — Они не спрашивают, потому что только на нас и надеются. Верят, что мы их в тыл доставим, не бросим...

Подводы неожиданно остановились, и Грач недовольно крикнул:

— Что случилось? Почему стоим?

— Две дороги, товарищ командир, — отозвался Лабук, — по какой ехать — будет приказ?

— Мастера приказы слушать, — буркнул Грач. — По той, что лучше, по той и поедем...

Он наклонился, вытащил тоненькую коричневую планшетку, щёлкнул медными кнопками и вытянул карту, но не всю, а только на четверть, потом сделал знак Насте, чтобы подошла ближе.

— На немецком языке умеешь читать? Смотри. Вот — Двина. Это железная дорога. Мы где-то тут... Трофейная карта — у немцев разжились...

Настя вглядывалась в точку, на которую ей показывал Грач, потом стала читать названия населённых пунктов, глаза цеплялись за какие-то черточки, линии, кружочки. Как только во всём этом разбирается Грач? И можно ли на карте найти эту извилистую, едва заметную лесную дорогу?

Она сказала об этом так искренне, что Грач не обиделся.

— Конечно, её здесь нет, но вот смотри — та гравийка, по которой мы недавно ехали, вот железная дорога, переезд. Так что можно сориентироваться.

Где-то далеко снова загудели моторы, и этот звук словно подтолкнул Грача к быстрому решению. Он торопливо сложил карту, сунул обратно планшетку под клевер и решительно показал на дорогу, которая вела к березняку.

— По этой идём. А я — туда, на дорогу. Надо предупредить Шаплыко, что мы повернули. А то ломанёт куда-нибудь в глубь.

— Он это может, — поддакнул Лабук.

— А ты за меня тут остаёшься.

Приказ командира пришелся не по душе Зуеву, он посмотрел на Лабуку с усмешкой, ехидно цокнув языком. Грач этого не заметил, быстро снял с телеги пулемёт с ребристым блестящим стволом и на его место положил карабин.

— А ты куда? — резко осадил Настю, когда она пошла за ним следом.

— С вами. На дорогу.

Грач недовольно передёрнул плечами, решил сказать что-то резкое, но передумал, заметив с лёгкой усмешкой:

— Пороху, смотрю, захотелось понюхать.

— Зачем мне ваш порох? А вдруг приказ ваш надо будет передать сюда. Вот я и буду у вас под рукой.

— Разумно. Хороший боец из тебя получится, — и, усмехнувшись, совсем по-дружески, доверчиво протянул ей карабин. — Знаешь, что к чему в этой штуковине?

— Я ещё на первом курсе сдала все нормы на “отлично”, между прочим. Лучше всех стреляла, мне даже парни завидовали.

— А чего ж ты раньше не похвасталась?

Всё та же насмешливая улыбка теплилась в его глазах, и это сильно обидело Настю, она бросила ему в ответ независимо и решительно:

— Похвастаться никогда не поздно.

— А язычок-то у тебя остренький, — Грач искоса глянул на подводы, как будто испугался того, что их разговор услышат, а ему этого очень не хотелось. — Но ты язычок-то свой, где не надо, не выставляй. Не успеешь оглянуться, как тебе его отрежут. — И, вслушиваясь в нарастающий гул, вскинул руку: — Зуев! За нами, быстро. Лабук тут сам справится!

Они выскочили с лесной дороги на гравийку и тут же увидели Шаплыко, который бежал, не замечая, что Грач подаёт ему знаки.

— Ед-дут! Мотоциклы!

— Сколько? — Грач резко перекинул правую руку со ствола пулемёта на короткий деревянный приклад, словно ребристый металл был горячим и обжигал ему ладонь.

— Три штуки, — Шаплыко для убедительности показал три пальца. — Осторожно, гады, шпарят. Проедут, становятся, внимательно по сторонам осматриваются, как будто что-то ищут.

Зуев хохотнул: — Удивляются, что Шаплыко их не встречает.

— А наших не видно? — спросил Грач.

— Нет, не видно. Они, наверное, тоже в лес крутанули, когда моторы услышали.

— Надо отходить, — сказал Шаплыко и как-то безрадостно посмотрел в глубь леса, на просёлочную дорогу, на которой не было видно ни одного следа, а только серела прошлогодняя хвоя.

— Позиция у нас уж очень выгодная, — как будто сам себе заметил Зуев. — Можно секануть. А если увидят — за пригорок скатимся. Свисти нам в хвост тогда.

— Надо отходить, — стоял на своем Шаплыко. — Мы не одни, у нас раненые. Обоз на нас лежит. В лес они не полезут, гравийкой проскочат...

Грач посмотрел на Зуева, потом на Шаплыко и бросил коротко:

— К бою!

Он продрался через засохший валежник, воткнул тонкие пулемётные сошки в молодую поросль, которая вырывалась от самого корня погибшей берёзы. Увидев, что Настя стоит на прежнем месте, приподнялся на локтях и зло крикнул:

— Ты что торчишь, как свечка! Занимай позицию справа от меня! Ты патроны в запас взяла?

— Но ведь вы мне ничего не сказали.

— По подсказке теперь не проживёшь. Собственными мозгами придётся шевелить, — Грач встал на колени, повернул голову к Зуеву. — Зуев, выдели ей одну обойму в запас.

— Хватит ей и того, что есть.

— Отставить разговоры! Выполнять, Зуев! Стрелять по моей команде. Первый мотоцикл мой. Второй — Шаплыко и Настя. Третий тебе косить, Зуев, смотри, не упusti. Если упustiшь, он повернёт на меня...

— Повернёт, конечно, но только в ад... Эй, лови!

Настя поймала на лету обойму, которую ей кинул Зуев, и это вызвало тихое, с присвистом восхищение Шаплыко:

— Вот как надо, Зуёк. С лету. Учись...

— Разговорчики, — приглушённо, с угрозой, просипел Грач. — Была команда всем молчать!

В густых зарослях папоротника всё затихло, словно там никого и не было. Настя раздвинула тонкие стебли папоротника, пристроила поудобнее карабин, прижалась щекой к прикладу.

В мокрых от росы сандаликах как-то сразу озябли пальцы — на левой ноге почему-то сильнее и всё сразу, потом от холода задубели подошвы. Настя поджала ноги, но теплее от этого не стало.

В густом папоротнике что-то трещало, гудело и неумолимо надвигалось на неё.

“Немцы! Это же немцы!”

Казалось, крик вырвался из груди, но из пересохшего рта не было слышно ни единого звука... Она только тихо ойкнула и, широко раскрыв глаза, испуганно смотрела на приближающиеся мотоциклы. Чудовища, похожие на огромных чёрных жуков, метр за метром сглатывали хорошо знакомую гравийку — совсем недавно они ещё ехали по ней, рассуждая, куда им свернуть. Из-за поворота выкатил мотоцикл, слева у него было какое-то корытце, похожее на распиленный бочонок. Следом за ним, словно приподнятые шлейфом белой пыли, пронеслись ещё два, такие же угрожающе чёрные, только тоньше, уже без корытцев с левой стороны. Движение их было стремительным, будто они мчатся не по дороге, а по воздуху, почти не касаясь земли. С каждым мгновением чёрные фигуры на мотоциклах разрастались, их цвет зловеще густел, и казалось, вот-вот они заполнят весь прицел, и ничего уже нельзя будет сделать.

Омерзительная дрожь, возникнув в затылке, медленно переползла в правое плечо, оттуда скатилась к локтю, и Настя, чтобы не впустить её к пальцу, который цепко держал калёный гладкий спуск, вжимала локоть в мокрый и скользкий, словно намыленный, мох.

— А-аго-о-о...

Оглушительный, гортанный крик Грача оборвала долгая захлебывающаяся пулемётная очередь. Настя видела, как на конце ребристого дула трясётся, вспыхивает и устремляется вперёд огонь. Она тоже нажала на спуск, нажала до острой боли в пальце.

“Карабин мой не выстрелил. Это хрустнул и сломался палец...”

Но приклад толкнул в плечо, она ужаснулась оттого, что стреляла не целясь, затем с трудом оторвала палец от спуска, когда боль немного ослабла и рука стала послушной, дернула рукоятку затвора, послала новый патрон в патронник.

“В кого и куда стрелять? Только пыль перед глазами!..”

Точно ли стреляла, об этом не думала, заботилась только о том, чтобы быстрее разрядить карабин.

— Прекратить огонь! Пре-кра-тить!

Приказ Грача донёсся словно издалека, но Настя сразу его услышала, хотя и продолжала стрелять, потому что в патроннике сидел новый патрон, который она уже вполне осознанно и спокойно пустила вперёд навстречу врагу. И там, где пуля нашла цель, раздался взрыв, и пыль на дороге вмиг осветилась оранжевым блеском, жёлтое колесо окутал гривастый чёрный дым.

— Прекратить огонь! — заревел Грач и, с пулемётом наперевес, прыгнувшись, бросился к дороге.

— За мной!

Вскакивая, Настя случайно опёрлась на карабин. Приклад скользнул по корню, который скрывался под мхом, и в этот миг из ствола хлестнул багровый язык. Оглушённая, на миг ослепшая, она упала на мох, в лицо сыпнул росный дождь, и этот дождь словно вытолкнул Настю из папоротника.

— Стрелок ворошиловский, дурная твоя голова, — выверился Грач, не сообразив вначале, что произошло. — Куда лупишь? По своим?

— Он же сам. Случайно...

Снова послышался выстрел, теперь уже на гравийке, и Грач, словно Настя и не было рядом, выругался на Шаплыко:

— ...и всех богов сразу! Ты что, в мертвецов стреляешь, у тебя что, патроны лишние?

— Этот пошевелился. Теперь вот надёжно лежит.

Глаза у Насти слезились, всё вокруг расплывалось, колыхалось в дымном мареве. Но это быстро прошло, и Настя увидела, что мотоциклы были не чёрные, а зеленоватые и в жёлтых пятнах. Первый перевернулся посреди дороги, второй стоит поперёк гравийки, заднее его колесо засело глубоко в песок, и около него, на коленках, приткнулся солдат в зелёном френче, обхватив обеими руками верх коляски. Третий влетел в кювет, задрвав переднее колесо, которое всё ещё крутилось. Ноги мотоциклиста твёрдо стоят на земле, а сам он, опираясь грудью на руль, свесил голову, словно высматривает, как ловчее выбраться на дорогу. Это напугало Настю, и она вскинула карабин. Грач заметил её движение, спокойно сказал:

— Не стрелять! Конец им всем. — И вдруг напустился на Шаплыко, который старался оторвать от стояка на коляске ребристый пулемёт с толстым коротким прикладом. — На что он тебе, искорёженный? Автоматы собирай! И гранаты! Патроны, патроны, смотри. В колясках ищи.

К Насте подбежал Зуев, перевязанный широким ремнём, на котором висел длинный тесак в коричневом кожаном футляре; два чёрных короткоствольных автомата висели на шее, один он снял и протянул Насте:

— Подарок тебе, голубка. За ворошиловский прицел.

— Зачем он мне? Я из такого не умею.

— Да наука простая. Тут оттянула, а тут — нажала. Он и застрекочет. Машинка хоть куда, не пожалеешь.

— Не хочу, не умею, сказала же!

— А мне тяжело. Помочь ты человеку можешь?

— Так бы и сказал!

Зуев повесил автомат Насте на шею, поймал Настин взгляд, устремлённый на мотоциклиста, который лежал на обочине дороги, и захохотал:

— Да не укусит, не бойся. Откусались, гады!

Зуев наклонился над коляской, одну за другой вытащил гранаты с длинными деревянными ручками. Две он засунул себе за ремень, третью протянул Насте.

— Едут, словно в гости, — Зуев брезгливо усмехнулся. — Гранаты даже к бою не подготовили.

— В лес! — свистнул Грач, закидывая за плечи трофейный автомат. — От-хо-дим! За мной! Шаплыко, тряпки не трогать!

— Какие же это тряпки?! Плащ-палатки, совсем новюсенькие, — и Шаплыко, выхватив из чехла тесак, отсёк ремни, которыми были привязаны к коляске два запylённых свёртка.

— В лес! Бегом!

По лесной дороге шли быстро, не остыв ещё от неожиданного и скоротечного боя, разговаривали громко и возбуждённо. Настя старалась, но никак не могла подстроиться под общий тон разговора — неприятно чувствовать, что вела себя в бою не очень смело, и это, конечно же, было всеми замечено. Она шла вслед за Грачом и Зуевым, специально отставая, чтобы не лезть командиру на глаза. Зуев, рассматривая запасные пулемётные диски, время от времени ругался: немцы, между прочим, их везли, а ему, Зуеву, приходится тащить на собственном горбу. Правда, ругался он не зло, а так, словно форсил, — мол, вот какой он сообразительный и находчивый.

Шаплыко участия в разговоре не принимал, что-то сказал в самом начале, а потом молча тащился сзади, и Настя слышала всё время, как он тяжело и устало дышал. На повороте, где вдоль дороги густо зеленела ежевика, он догнал Настю, дотронулся до её плеча...

— Хочешь? — Шаплыко протянул ей ручные часы с блестящим металлическим браслетом. — Бери на память — трофей.

— Откуда? А-а, у этих взял?

— Ну. Едут, сволочи, пешком не прут. И все — при часах.

— Нет, нет, — и она отшатнулась от протянутой ладони. — Мне не надо.

— Пусть — не трофей. За мужество в бою — награда.

Грач приостановился, спросил въедливо:

— Какие это ты награды раздаёшь, Шаплыко? — и, успев заметить часы с блестящим браслетом, которые Шаплыко ловко зажал в кулаке, не добрительно покрутил головой: — Ну и армия у меня. Одна едва себя не застрелила. Другой — трантами обвешался. Третий — карманы мертвецов чистит, — и громко сплюнул. — Выкинь к чёртовой матери! Не погань руки. Ясно?!

— Есть, товарищ командир, будет выполнено.

Шаплыко, тем не менее, не торопился исполнять приказ, и едва Грач отвернулся, он, заговорщицки подмигнув Насте, быстро сунул часы в карман.

Постепенно все успокоились, возбуждённый разговор стих, шли молча, ожидая чего-то недоброго. Настя вздохнула облегчённо, когда увидела знакомый перекрёсток. Подвод там уже не было, они проехали в глубь березняка. Когда подошли к подводам, Грач начал устанавливать пулемёт на прежнее место. Зашевелился комиссар, спросил встревоженно:

— Прорвались, Грач?

— Так точно, товарищ комиссар. Сейчас двинемся дальше.

Он ответил бодрым голосом, немного постоял, ожидая вопросов. Но их не было: комиссар лежал молча.

Грач отступил немного в сторону, поманил пальцем Лабука. Тот сразу подбежал, козырнул, и Грач сказал тихо:

— Ты руководишь обозом. Шаплыко и Зуев — в арьергард. Мы, — он кивнул в сторону Насти, — разведка. Двигаться следом. Коней сильно не гони. — Повернувшись к Насте, посоветовал строго: — Автомат положи. Карabin ты уже освоила — не подведёт. — И, сняв с подводы ремень с чёрным подсумком, быстрым движением подвязал его Насте, застегнув пряжку. — Теперь — двинулись. Посмотрим, что там впереди...

Шум в ушах стих, слух опять стал острым, и Настя обрадовалась, что снова хорошо слышит: вот звонкое пение берестянки, шуршание папоротника под сапогами Грача... Она остановилась, но тот требовательно кинул через плечо:

— Не отставать! Дорога каждая минута. Они теперь на вес золота...

Вскоре пришлось не только быстро идти, но и бежать. Прежние мысли не оставляли, тревожили душу. Куда так бешено мчится Грач? Вот уже его фигура скрылась за поворотом в молодом осиннике, исчезла, словно провалилась под землю.

Добежав до поворота, Настя увидела, что дорога опять раздваивается: одна рыжая, усыпанная прошлогодней хвоей, прячется под развесистые словые ветки, другая расширяется, спускается вниз к маленькому ручью. В том месте, где лесная дорога пересекает ручей, горбится длинное замшелое бревно, и около него на песчаном бережку, распластавшись, лежит Грач, и жадно, как собака, пьёт воду.

Настя кинулась к ручью, упала рядом с Грачом и, словно спасаясь от смерти, припала к воде. Она пила холодную воду частыми глотками, зажмурившись от наслаждения.

Утолив жажду, огляделась: тишина, только пение птиц, журчание ручья да тяжёлое дыхание Грача... Вдруг, словно из-под зелёной дуги малинника, который связал два берега ручья, вырвался грохот разрывов и глухое стрекотание пулемёта.

Настя вскочила, испуганно глянула на Грача. А тот, словно ничего и не слышал, спокойно перешёл ручей, подошёл к кривоватой сосне, спокойно уселся на пень и молча наблюдал за подводами, которые, увязая в сыпучем песке, вплотную одна за другой катили к ручью.

Почуввав воду, кони хрюпали, рвались вперёд. Шаплыко, забежав вперёд, схватил поводья, закричал Лабуку:

— Придержи их, пусть остынут, разгорячённым пить нельзя!

— Коням нельзя. А человеку — можно, — кинул Лабук.

— Человек не лошадь. Выдержит.

Шаплыко стал на колени на утопанную дресву и полными пригоршнями хлебал воду, потом плескал её в лицо, под расстёгнутую гимнастёрку и снова пил. Наконец вскочил и, глядя поверх Настиной головы, заметил:

— Танки бухают. Поминки по своим мотоциклистам справляют.

— Разве это в той стороне стрельба? — не поверила Настя. — Совсем в другой стороне, кажется, гремит.

— В той, голубка, в той. Ну и молотят, весь лес спалят...

— Пи-ить! Пи-ить дайте... Пить людям...

Настя вздрогнула, услышав этот слабый голос. Мама зовёт! Нет, показалось! Это, кажется, тот, который спрашивал Грача, прорвались ли... Хотя нет, комиссар лежит, не двигаясь. Раненный в голову боец, пытаюсь сползти, повис на оглобле. А Зуев и Лабук, словно ничего не видят и не слышат, прилипли к воде и жадно лакают, как это только что делал Грач.

“Тебе хорошо, напислась... А о раненых забыла. Ты же будущий врач. Или зря тебя учили милосердию?”

Насте показалось, что это упрёк прозвучал со стороны, и она встрепенулась, подбежала к раненому с забинтованной головой, но он оттолкнул её и, шатаясь, двинулся в сторону ручья, но потерял равновесие, стал медленно оседать на замшелое бревно и упал на спрессованный белый песок. Настя снова бросилась к нему, помогла сесть, быстро зачерпнула пригоршней воду, поднесла к губам. И он не оттолкнул, а что-то благодарно мычал, тычась носом, как телёнок, в Настины ладони, порывисто пил, и губы его были горячими и колкими, словно из жести.

Лабук притащил две каски, одну отдал Насте, попросил деловито:

— Отнеси воду комиссару. — Зачерпнув второй каской, хохотнул: — Конопелько и тут лучшее себе отхватил — из рук красавицы воду хлещет, — и стал поить раненого. Он лил ему воду на лицо, добродушно бурчал: — Из касочки, родненький, пей, из железной. Пей и края целуй, потому что она тебя, дурная, спасает. Хватит? И я говорю, что хватит. Вода не водка. Много выпьешь — кишки полопаются. Вставай, к подводу отведу. Ровнее, ровнее топай. Комиссар на нас смотрит. Мы все уже от пуза налакались, а комиссар ещё маковой росинки во рту не держал.

Справа от зелёного замшелого бревна Настя увидела водоворот и, как в колодец, опустила туда каску, зачерпнула по самый край. Несла воду осторожно, прижимая каску, чтобы не расплескать воду, ощущая на себе внимательный взгляд комиссара. Он лежал, опираясь на правую руку, подбородком опираясь на ребристое чёрное дуло пулемёта. Толстая от бинтов шея словно втиснула крупную лобастую голову в плечи.

— Как зовут? Из какого батальона? — спросил он и припал к каске...

— Я не из батальона. Из эшелона. Мы с мамой ехали... Нас бомбили. И я отстала.

— Благодарю. Вода славная, — сказал он. Вымыл лицо, хрипло добавил, отдавая каску: — Передай Грачу: продолжать движение. Не останавливаться. И вперёд — разведку. Обязательно.

Он закрыл глаза, и Настя поняла, что комиссар потерял сознание. Волосы его были мокрые, под толстыми седыми бровями, в тёмных глазницах и в глубоких морщинах на лбу блестели капельки воды.

“Не молодой он, комиссар. А глаза детские и уж очень доверчивые”.

Настя подумала так, переходя ручей по замшелому бревну.

Грач шёл впереди быстро, не оглядываясь и не озираясь по сторонам, время от времени словно бормотал или напевал что-то себе под нос. Наконец лесная дорога расширилась и снова разделилась на две. Грач теперь не останавливался, не советовался с Настей, выбирал сразу, не колеблясь, и в её душе поселилось уважение к этому молчаливому, уверенному человеку. Если бы она не встретила Грача с этими подводами? Спаслась бы на том железнодорожном переезде? А если бы налетели немцы? Схватили бы сонную и убили... Теперь они лежат на пыльной дороге. Может, и она попала в одного из них во время того шального боя. Ведь стреляла четыре раза... Если бы не стреляла она, стреляла бы они... И не шла бы она сейчас по этой лесной дорожке с карабином через плечо. А нести его, честно говоря, тяжело. Перекинула с одного плеча на другое, и все равно жмёт, режет кожу толстый ремень. Настя в отчаянии тихо застонала. Ох уж это оружие, и кто его только выдумал на её голову... Грач, словно на ту беду, приостановился.

— И куда же теперь поворачивать? — Взяв из её рук подсумок, он ловко зачихнул кончик ремня в хомутик, защёлкнул пряжку и, сунув подсумок под правый бок, почти на спину, с надеждой глянул на Настю: — Может, ты подскажешь?..

Она увидела в его глазах едва скрываемую тревогу, и тогда до неё дошло: Грач не шутит. Он действительно просит совета... А что она может ему посоветовать? Ведь ей тоже незнакома эта лесная дорога, которая снова разбегается в разные стороны...

Их уже догнали подводы, и Грач подал знак Шаплыко поворачивать на узкую, почти невидимую дорогу, а сам пошёл дальше, разгониосто и быстро. Настя устала, но старалась не отставать. Снова послышалась глухая канонада. Грач вслушивался в неё молча. Она беспокоила его, он всё чаще крутил головой, пытался определить, с какой стороны гремит. Заметив, что Настя тоже прислушивается, поспешил переключить её внимание:

— Не устали ножки?

— Я люблю ходить. А потом — тренировка... В нашем институте спорт был в почёте.

— В медицинском, говорят, учиться трудно? Это правда?

— Да выдумки всё это. Просто путают...

И Настя начала рассказывать, как поступала в институт, как сдавала экзамены в этом году, и почему досрочно, про апрельские соревнования, на которых их команда заняла первое место. Рассказывая, она всё время вспоминала тот вечер, когда Черкас провожал её... И ей очень хотелось поподробнее расспросить Грача обо всём, что случилось после того, как он посадил её с мамой в вагон, о том бое, в котором был ранен Черкас, и как они оказались на разъезде... Но, вспомнив, как прошлый раз Грач осек все её вопросы, не решилась задавать их снова, а потому просто замолчала. Рано или поздно они останутся на привал, тогда она всё узнает от самого Черкаса. Хотя что она узнает, и что это изменит?! Он ранен, ему необходимо сделать перевязку, и не только ему одному. А чем она поможет им в лесу? Где взять медикаменты... Может, на подводах у них есть всё необходимое? Но расспрашивать об этом Грача пока нет никакого смысла.

Начался весёлый безразнычок с редкими гривками земляники около старых низких пеньков. Настя на ходу схватила несколько неспелых ягод, зажала их в ладошке, время от времени рассматривала их, словно пересчитывала.

— А что не ешь? — с улыбкой спросил Грач.

— Раненых угощу. Мы можем ягоду сорвать, а они лежат. Вон и вудой мы их напоили в последнюю очередь. Стыдно!

— Это ты хорошо придумала, — сказал он, но показал, как ей показалось, хмуро. — Иди и быстро возвращайся...

Она пошла к подводам, и когда вернулась, Грач удивился:

— А что так быстро?

— Никто даже руки не протянул. Им отдых нужен, видите, как трясёт подводы. — И протянула ему ягоды: — Берите...

Он взял две спелые ягодки — только и смог выбрать из мокрого комочка, кинул в рот. — Окончится эта круговерть — мороженым угощу, обещаю. За каждую ягоду — десять порций.

— А я мороженое не люблю, — схитрила она.

— Конфетами заменим. Самыми лучшими! Самыми сладкими. Целый мешок, чтобы не подняла!

Грач шутил, а голос был невесёлым, и смотрел он вперёд с тревогой. Дорога то поворачивала влево, то забирала вправо. Солнце заволкло густой беловатой дымкой, и теперь не разберёшь, где восток. Грач вроде бы успокоился, шаг его стал уверенным, разгониистым и, когда дорога снова раздваивалась, уверенно брал направление, и Настя молча подчинялась ему, ничего не спрашивала, только старалась не отставать.

Вышли вновь к знакомому ручью.

Грач запустил руку под растёгнутую гимнастёрку, поправил бинты и, постукивая пальцем по пуговице, заметил:

— От того места, где лежит то зелёное бревно, мы километров десять напрямиком открутили. А ручей нам этот — подарок от Бога. Тут и сделаем

привал. Только сначала зашѐмся в зелёную чащобу, тогда и расслабимся... Посидим, подумаем, как жить дальше будем. Разведку поставим. Без разведки нам никак нельзя. Ну вот, снова пошла молотарня...

Конечно, решение, которое он принял самостоятельно, разумное и правильное. Посидеть, подумать — не повредит. Дальше идти, не отдохнув, Настя просто уже не может. Это он здоровый, закалённый спортом. А раненым в тех подводах... как им выдержать? Очень хочется есть, а что в этом лесу съешь? Может, ягод ещё поискать? Вкусной была земляника в том березнячке. А тут земляничника совсем не видно. И лес какой-то странный. Там, куда ведёт дорога, сумрачный, густой. А за ручьём, в стороне от дороги, светлее, может, там поле?

— Поле?.. — Грач хмыкнул. — Откуда?

— Я пойду, посмотрю.

— Вместе пойдём.

— Что, привал? — гукнул Шаплыко, останавливая коня. — Как хотите, но сил больше нет, топаем и топаем... Как будто к медведю в берлогу.

— Ручей — форсировать. И — привал. А мы тем временем глянём, что там дальше, на том берегу...

Молодой лиственный подлесок неожиданно окончился. Настя, как зачарованная, остановилась — до самого горизонта открылось болото, поросшее низким, словно обсечённым, сосняком. Слева и справа от болота — синеватый хвойный лес. На краю болота, на окаймлённом березняком и осинником песчаном бугре горбится какое-то строение, немного поодаль растёт раскидистая груша-дичок.

— Что это? — Настя перевела взгляд на Грача. — Похоже, лесной хутор. Вон сараюшка. И какой-то странный запах. Скипидарный, что ли?..

Грач прищелкнул, широко, по-звериному раздувая ноздри.

— Кажется, смолокурня. Видела, как деревья подсечены, начиная от самого ручья? Смолу собирали лет пять тому назад, а может, и больше. Надо прикинуть, что к чему, пошли.

Автомат Грач перекинул на грудь, палец держал на спусковом крючке, шаг его стал упругим, и весь он натянулся словно пружина, готовый в любую минуту пустить в ход оружие. Глядя на Грача, Настя тоже обхватила свой карабин правой рукой.

Они приблизились к строению, сколоченному на скорую руку из шишковатого горбыля. Рама единственного окна была оторвана и приставлена к стенке, на дверях висел замок, который сразу раскрылся, — никто и не думал закрывать на ключ эту ломатчину, и двери открылись, даже не скрипнув. Пахло густым застоявшимся скипидарным духом. Немного в отдалении, под берёзами, они увидели погреб, оказавшийся сухим и чистым. Грач, осмотрев его, радостно выдохнул:

— Ну и везёт же мне — небом ты мне послана, весь день с тобой, и на каждом шагу удача. — Грач обнял Настю и, словно шутя, прижал её к себе.

Она на мгновение притихла в его шуточных, но властных и сильных объятиях и тут же выскользнула из них. Грач нехотя раскрыл руки и с грустным сожалением промолвил, будто сказал про себя:

— Непостижима судьба человеческая... Как порой случается? Только один шаг до счастливого поворота... Ну, пройди ты ещё шагов десять... Так нет же — в хомут. Вот остановились в лесу. А надо было сразу сюда идти, ведь и дорога вела к этому месту, так нет же: кружили по лесу, спрашивается, чего искали? — Он снова обнял её за плечи: — Всё, сиди здесь. Сейчас я сюда обозы заверну.

Оставшись одна, Настя обошла дощаник со всех сторон, изучила березнячок вокруг и нашла ещё один погреб, в котором были набросаны старые заржавевшие лопаты, погнутые вёдра и ещё какие-то непонятные ей приспособления. От всего веяло забвѐм. Печально шумел березняк, задумчиво лопотал густой листвой осинник. В этом году здесь точно никого не было — ни одного следа. Хотя нет, какой-то след около груши есть, и ведёт в сторону подлеска, и след от копыт... Звери, значит, к ручью ходят. Ручей, видимо, из болота начинается, как раз где орешник за дощаником.



Первым подъехал Лабук, резко натянул вожжи:

— Ну, всё: к болоту прибились!

Он зло сплюнул, вытер рукавом потное лицо, глянул исподлобья, и Настя словно дотронулась до чего-то холодного, колкого и неприятного. Глаза у Лабука недобрые. Раньше она этого не замечала.

— Что плохого, клюкву будем собирать: она тут должна расти.

— Пока нарастёт, мы тут сами в клюкву превратимся.

Несмотря на ворчанье Лабука, настроение у Насти было хорошее. И что удивительно, вот осталась она одна, так будто что-то потеряла. А теперь увидела Грача — словно нашла то, что недавно потеряла. Идёт такой уверенный, смелый... Наверное, от него и ей передаётся уверенность и спокойствие!

— Прива-а! — скомандовал Грач. — Шаплько! Обязанности коменданта гарнизона — на тебе. Коней — распрячь. Проверь дощаник и погреб, раненых — в тень. Лабук! Что у тебя есть из провианта?

— А ничего нет, товарищ командир.

— А сухари куда дел?

— Сухари есть. И ещё мешок овса.

— Ну вот, а говоришь, ничего нет. Ты эти паникёрские песенки не затягивай. Весёлую дудку давай!

Лабук хмуро забубнил:

— Дуда найдётся. Овёс конский вначале съедим, потом коней, а затем нас черви начнут жрать...

— Курорт, командир, — словно одурелый, зашёлся Зуев. — Райский уголок. Тут мы две войны пересидим, — он весело подмигнул Насте. — И водичка, и травичка, и солнышко.

— Пересидеть войну надумал. И-ишь, гусачок, — незлобно возмутился Шаплько. — А воевать кто будет? Кто чужака погонит?

— Ты что, не слышишь, какая сила гремит?

— Отставить панические разговоры! И чтоб больше я их не слышал. — В голосе Грача Настя услышала резкие, до этого незнакомые ноты. — Лабук! В дозор! Куда выходит дорога, заметил? Там и становись. Внимательно веди наблюдение. Шаплько! Подводы сюда!

Подводы спрятали под навесом раскидистого орешника, который зелёным шатром прикрыл их, да так, что ни сверху, ни со стороны их не разглядишь.

Шаплько подошёл к подводе, взял соломенный короб, что горбился на передке. Из-под соломы показался железный ящик с толстой ручкой, Шаплько потряс его, в нём что-то гулко бомкнуло. От этого звука подхватился Конопелько:

— Не трогай! Прочь!

— Хмы-ы, — Шаплько пренебрежительно оттопырил губу. — И чего всхлынул, не трогаем мы твою жестянку. Переселяемся на землю.

Конопелько резким движением прикрыл соломой железный ящик, схватил автомат и резко прикрикнул:

— А ну отойди...

— Мы вас перенесём в тенёк, там будет лучше и помягче. Мне легче будет вам сделать перевязку, — вступилась за Шаплько Настя.

— Тут перевязка. Мне и так хорошо.

— Поступил приказ: снять раненых с подвод. Грач и Зуев с той подводы уже сняли всех.

Конопелько взвился, голос стал звучать на взрывной ноте:

— Отойди! Кому сказал! — и передёрнул затвор автомата...

Подошёл Грач, некоторое время молча смотрел на колёса, потом перевёл взгляд на старые ёлки за ручьём, глаза его сузились, он устало и как-то спокойно попросил:

— Отправляйся, Шаплько, лучше за лапником. — И совсем другим тоном, мягко и незлобно обратился к Насте: — И ты иди с ним. Только близко не ломайте, лучше за ручьём, чтобы с дороги не бросалось в глаза: чего, мол, ёлки ободранные стоят?

— Да кто в этот гушар полезет? Сюда сам чёрт — раз в год заглядывает.

— Исполнять приказ!

— Слушаюсь, — с готовностью отрапортовал Шаплыко и добавил от имени Насти: — Слушаемся! Будет исполнено!

Настя шла молча — думала о странном поведении Конопелько.

Интересно, что в том железном ящике, до которого даже нельзя дотрагиваться...

Шаплыко не удивил её вопрос, но ответил он не сразу:

— Стрелковый полк в том ящике, чтоб ты знала.

— Штабные документы, — догадалась Настя.

— Если бы только штабные документы. Знамя полка! А это тебе не абы что! Есть знамя — живой полк, даже если в нём не осталось ни одного бойца. Набрали солдат, и полк идёт в бой. А если знамя утеряно — полку конец. Как боевую единицу, его уже не оживить... — Он вдруг спохватился, стал озираться — не услышал ли кто... — Ты молчи о том, что узнала. Ты же присягу не принимала... Я не имел права язык распускать перед тобой.

Настя обиженно перекинула карабин на правое плечо, глянула в упор на Шаплыко:

— Не принимала, но я — комсомолка, значит, тоже солдат и знаю, что такое военная тайна и как её надо хранить...

Зверобой рос около берёзового пня, обросшего снизу и сверху грибами. Настя рвала сосредоточенно, прислушиваясь к весёлому свисту Шаплыко и хрусту веток. Вскоре он подошёл с огромной охапкой зелёного лапника в левой руке, а в правой — ярко горел оранжевый цветок.

Настя обрадовалась:

— Где ты его нашёл? Это же лекарственный цветок. Арника горная.

— За ёлками. Там их целое облачко. Цветок только один, остальные пушистые шарики...

— Показывай, где растут. Показывай!

За ёлками, среди вереска и редких пятен синюхи, Настя сразу увидела тоненькие, ворсистые головки, торчащие из густой сочной травы. Но не добежала до них — испугалась: где-то близко, почти за спиной, бухнул гулкий раскатыстый выстрел.

— Что это? Стреляют!

— Ну! — Шаплыко тоже в растерянности озирался, крутил головой, словно что-то выискивал в густом, как стена, орешнике. — Около подвод это. Перекинув со спины автомат под правую руку, повелительно приказал: — Назад! Бегом к нашим!

Около склепа лениво возился Зуев, и Настя, издали не разглядев, что там происходит, крикнула:

— Что случилось? Кто стрелял?

— Лабук косулю подстрелил. Выбежала из лесу. А он — бэ-энц. И попал, — Зуев говорил радостно, потирая живот. — С голоду теперь не умрём!

Шаплыко оживился:

— Мясе — витамин це. Имеем шашлычок!

— Разогнался больно, пока Грач из него шашлычок делает, — Зуев кивнул в сторону дички: на взгорке Грач, размахивая кулаками, что-то втолковывал Лабуку.

Отдышавшись, Настя огляделась и с удивлением отметила, как всё изменилось вокруг. Можно сказать, обжитое место! Под густым навесом орешника ровненько стоят подводы, на луговине около ручья пасутся распряжённые кони. В березнячке натянута пятнистая плащ-палатка, и под ней, рядом, лежат раненые. На склоне небольшого взгорка, между осинок, высечена узенькая пещерка, и в ней, совсем без дыма, горит костёр, и над ним на железных прутьях висят три солдатских котелка. Настя услышала за спиной тяжёлые шаги — Грач появился внезапно, только что был на том взгорке и вот уже тут... На крыльях прилетел, что ли...

— Зверобой нам пригодится. — Он потрогал жёлтый пучок, который Настя крепко держала в руке. — А это? Как ты говоришь? Арника горная... В лесу я встречал эту травку, а вот как она зовётся, не знал. Много чего есть на свете, чего мы не знаем, о чём даже не слышали... От, гремит, холера. И если б знать точно: кто это и где?

— Видимо, фронт, — осторожно заметила Настя.

— Натурально фронт. И, кажется, около Двины. Там же, за Боровухой, линия Сталина проходит — она вдоль всей бывшей границы идёт. Доты в два этажа под землёй — мощнейший узел обороны. Когда-то, до училища ещё, начинал там службу. Нам обязательно туда надо подскочить. Кони только отдохнут — и верхом...

— Верхом я умею — брат меня научил. Мы каждое лето — в деревне у бабушки отдыхаем.

Грач, усмехаясь, покачал головой:

— Ну и отчаянная твоя голова. Верховая разведка — дело мужское. У тебя же другая забота. — Он посмотрел на неё долгим внимательным взглядом, словно чего-то ждал от неё, потом медленно, чётко выговаривая каждое слово, приказал: — Очень тебя прошу, комиссара нашего на ноги поставь. Землёй он был засыпан — бомба рядом с окопом бабахнула. Крови большой не было, царапины только на руках, на шее. А вот с головой что-то случилось. Очнётся вдруг, потом снова как неживой... Очень тебя прошу: подними комиссара. Он мне жизнь спас.

— Я же не врач, четвёртый курс только окончила, вы ведь знаете. И никаких лекарств. Только вот это, — Настя в отчаянье показала на пучок зверобоя. — Какая тут надежда?

— Лекарства и бинты найдём. Это моя забота. Кони отдохнут, и мы с Лабуком погоним. Нет, лучше с Шаплько. С ним надёжнее.

— Сами поедут, а мне одной тут оставаться? — взорвалась Настя. — На меня, на мою голову — всю ответственность за людей?..

— Ну, хорошо, хорошо. На мне, на мне ответственность, — торопливо согласился Грач. — Поедут Шаплько и Лабук.

Быстрога, с которой Грач её успокоил, удивила Настю. На миг ей показалось, что он даже ждал, чтобы она возмутилась, потому с такой лёгкостью и принял её протест. Ей подумалось, что этот человек может и понять, и поддержать, в трудную минуту на него можно вполне положиться. Ей так захотелось сказать ему об этом, но в последний момент она сдержала себя, только печально вздохнула.

Солнце садилось в конце болота, перерезав его пополам. Пристроившись на берегу ручья, Настя стирала бинты. Огромное, угрожающе багровое солнце тревожило и угнетало её. Она медленно полоскала бинты в воде и краем глаза наблюдала за тем, что происходит около дощаника. Тем временем Лабук вывел из-под зелёного шатра коней, на их блестящих от бордового света боках желтели седла, сделанные из порезанной на куски плащ-палатки, которые он сшил и напихал сеном. Грач, глянув на них, не удержался от похвалы:

— А ты казак, выходит, Лабук, седла смастерил на славу. Повторяю: сломя голову не бросаться. Действовать в соответствии с обстановкой. С умом, одним словом. Ясно?

— Так точно, — сказал Шаплько. — Утром доложим о выполнении задания.

Настя слушала, как стихает далёкая канонада, смотрела на Грача и почему-то не ощущала радости, что всё получилось так, как ей и хотелось. Не поехал он на разведку с Лабуком, остался, а у неё теперь такое чувство, что лучше бы сделать всё наоборот. Тогда бы не смотрел на неё своими печальными глазами. Что-то в нём изменилось в тот момент, когда она попросила его остаться в лагере. Стоит сейчас, молчит, словно чего-то ждёт, о чём-то мучительно думает.

— Они уже уехали? — спросила Настя, нарушив тягостное молчание, которое начало угнетать

— Да, но... Утром, договорились, вернутся. По карте станция недалеко. Километров пятнадцать. Зябки.

— Странное название. Холодом от него веет. Наверное, от Полоцка далеко.

— Километров под пятьдесят. Может, и больше. — Он присел на корточки рядом с тропинкой, пробитой в вереске, проговорил тихо, как будто

про себя: — Много тут прошло лесного зверья, вон как вереск повыбивали, что и не растёт.

— А может, люди тут ходили?

— Нет, звери, — тоном знатока заметил Грач. — К воде они тут ходят. У зверей в лесу тоже свои дороги.

— И откуда вы так хорошо звериные повадки знаете?

— Сын лесника. Отец частенько меня на охоту брал. В лесу я хорошо ориентируюсь.

— А я совсем плохо. Бывало, как пойдём в лес за грибами, — чуть в сторону — и заблужусь, тогда меня кричать — не докричаться.

Она начала развешивать выполосканные бинты на ветках, что росли от самого корня старой ольхи. Но Грач подсказал:

— Ты лучше у дощаника на гвоздях повесь. Белое издали видно. В глаза сразу бросается.

— А ведь и правда. Как же мне это сразу в голову не пришло?

— Что в нашем лесном госпитале? — спросил Грач и сел на толстый берёзовый пенёк, над которым поднимались две ладные молоденькие берёзки. — Ты всех раненых осмотрела? Перспектива у нас не очень радостная?..

Ей не терпелось в первую очередь сказать о Черкасе — краснота ползёт по спине, только б не было гангрены, — но что-то подсказало ей, надо говорить вначале о приятном.

— Комиссар встанет на ноги. Когда? Я не знаю точно. Может, через день, может через два.

— Я тогда тебя расцелую!

— А если мои прогнозы не исполнятся?

— Под трибунал пойдёшь. Тут, в лесу и приговор тебе будет. И никаких адвокатов!

Ей показалось, что в его словах не только шутка, но и скрытая угроза: на душе стало беспокойно и неприятно. Она шутит, шпильки всякие пускает, а рядом люди страдают от ран, надеются, что она им поможет.

— А вот трибунала, видимо, мне не миновать. Вахтанга — так зовут раненого грузина? — на ноги не поднять, не поправится он, как мне кажется...

— Очень жаль будет Вахтанга — славный парень. Если бы ты слышала, как он поёт по-грузински “Сулико”. Конопелько ему каждый раз подтягивает.

— Конопелько может и сейчас петь. Такие раны, как у него и Буркуна, быстро заживают. И у Авдошко неплохо. А вот у Черкаса!..

Грач посмотрел на неё хмуро, даже подозрительно.

— Пуля или осколок засел около позвоночника. Без операции не обойтись. Кто её тут сделает? А что я могу? Раны промыть отваром из зверобоя, бинты поменять.

— Шаплько привезёт медикаменты. Я приказал.

— Если бы ещё и операционную сюда доставил. И хорошего хирурга в придачу. А если этого не будет...

Хмуро глядя себе под ноги, Грач сказал медленно, не повышая голоса:

— Будем искать и хирурга. А ты пока не жалея зверобоя. Его тут полно. Могу, если хочешь, помочь его насобирать.

Настя торопливо перебила:

— Справлюсь и сама.

— Только не отходи далеко от ручья, — предупредил Грач. — Смотри, не потеряйся. Без тебя нам — труба. Пропадём без тебя!

Грач не шутил, он говорил серьёзно, и услышать такие слова было приятно. Настя быстро развесила бинты на гвоздях, которых в дощанике было набито полным-полно, и побежала собирать зверобой. Силы были — густой наваристый суп получился у Лабука. И мясо косули было мягким, деликатным на вкус: никогда не ела такого вкусного супа. Правда, немного пересолил, наверное, очень обрадовался, когда нашёл трёхлитровую банку соли в погребе.

Чем дальше Настя углублялась в лес, тем реже встречала зверобой, зато всё чаще на её пути попадался большой терракотовый цветок арники, она

собирала его, радуясь, что не зря бродит по лесу. Каждый раз, слушая, как с хрустом обламываются пепельные ворсистые стебли, с грустью думала о том, что уничтожает такой прекрасный и такой редкий в этих краях цветок. Сорвёшь цветок, и сразу листья меняют цвет, будто чернеют от боли. Около молодого можжевельника увидела сразу три арники. Наклонилась, чтобы сорвать, и вдруг пожалела, залобовалась, присела на хрусткий высохший седой мох. И только сейчас почувствовала страшную усталость.

Как-то очень быстро погустели вечерние сумерки. Надо возвращаться. Сидит тут, а там, может, Шаплько и Лабук хорошие новости привезли. Хотя вряд ли, ведь они должны вернуться только утром. А что если вернуться и скажут: войне конец! Даже не верится, что катит по земле страшная беда. К тому же совсем не слышно канонады, словно её и не было вовсе. Словно где-то там, в далёком краю, а не здесь, и огонь, и взорванный мост, и раненая мама, и смолокурня, неожиданно приютившая их. Необыкновенную, удивительную власть имеет над человеком вечерний лес: словно переселился в другой мир. А может, сейчас где-нибудь и мамочке так же хорошо и славно, как ей в сонливой вечерней лесной тишине.

Сейчас бы лечь, уснуть, а завтра проснуться и увидеть совсем иную жизнь. Нет, не новую, а ту, что была до того ужасного воскресного утра... А что если сейчас её отец вот так же, как Черкас, лежит раненый около какой-нибудь смолокурни, или просто в поле, или в лесу, и никто ничем не может ему помочь?..

Что-то сухо хрустнуло за кустами можжевельника. Настя встрепенулась и вдруг увидела, что всё вокруг изменилось: не седой, а очень чёрный мох, небо фиолетовое, такого же цвета кусты можжевельника. Хруст повторился, но теперь уже рядом.

Она вскочила, торопливо схватила карабин. Испугал треск сломанных веток и какое-то глубинное, угрожающее хрюканье, оно нарастало, приближалось, словно из-под земли. Настя, ничего не видя перед собой, бросилась из этих ужасных фиолетовых зарослей. Она бежала, не чувствуя под собой земли.

Нога провалилась в какую-то нору, щиколотку пронзила боль, и Настя, заплакав, упала на землю. Что теперь будет? Она же просто погибнет в этом диком лесу. Выстрелить, чтобы услышал Грач? А если услышит не он, а кто-то другой, который выследил её и теперь только ждет, чтобы она дала о себе знать. Нет, надо вести себя осторожно, оглядеться, прислушаться... Ведь у неё есть карабин. Она сможет постоять за себя...

Тень мелькнула за кустом можжевельника. Настя загнала патрон в патронник, крикнула испуганно:

— Сто-ой! Кто там? Стрелять буду!

— На-астя-я! — в ответ раздался радостный голос Грача. — Ну, ласточка! Ну, белочка ты моя! Всех богов благодарю: нашёл!

Бешено забилося сердце. Дрожащая пелена в глазах, которые ещё слезились, погустела, и в этой пелене к ней плыл, приближался Грач. И вот он уже рядом, шумно падает на вереск.

— Грачок! Родненький, — слова слетели с губ внезапно, и так же внезапно она схватила его за плечи, на миг прижалась к пропахшей потом гимнастёрке. — Как я рада, что ты меня нашёл!

— Испугалась, белочка моя! Наплакалась. Вот и слёзки текут-вытекают...

Он увидел карабин, поставленный на боевой взвод, усмехнулся, потёр рукой шею; гимнастёрка растянулась, и она заметила, что тёмные пятна крови на бинтах стали больше.

— Ты уже и стрелять решила?

Он взял карабин, поставил на предохранитель:

— Человеку одному везде неудобно, а в лесу особенно одиноко...

— Надо идти. Мне уже лучше, — сказала Настя, но не встала, а только поджала ноги, отодвинулась от Грача, натянув на колени юбку.

— Идти, конечно, надо. Но куда?.. Хоть убей меня, не знаю, просто не могу сообразить, в какой стороне наша смолокурня. Столько гнал напрямую.

— А как же? — от растерянности она даже стала заикаться. — Мы что, теперь не найдём наших?

— Почему это не найдём? Найдём! Сейчас стемнеет, звёзды увидим. По ним и определим, в какую сторону идти.

— А если не определим?

— Дождёмся утра. Нынче самые короткие, июньские ночи.

— Где дождёмся? Тут? Да нас комары съедят до утра!

— А мы вон под ту ёлку перебазируемся — сменим место дислокации. Густые ветки нас прикроют — всё спасение от этих кровососов...

Она послушно поднялась и как только устроилась под навесом густых веток, радостно призналась: — А тут и спокойнее. Хвоя такая мягкая и тёплая. Ветки нависли до самой травы. Даже если кто рядом пройдёт, нас не увидит.

Потом с усмешкой заметила:

— А кто-то, помню, хвастался, мол, сын лесника, сын лесника. А как в лес зашёл, сразу и заблудился.

Грач сидел рядом, прислонившись спиной к стволу.

— А фуражка где ваша, дорогой товарищ? — спросила Настя — Потерял?

— Пропала моя фуражка. Потеряв голову, нечего о фуражке плакать.

— Э-эх, вот как оно всё повернулось. И головка уже потерялась, — сказала Настя, взяла хвоинку, она была с капелькой смолы и запуталась в волосах, словно приклеилась.

Грач поймал её руки, стал целовать, потом прижал к своим щекам.

День угас, небо стало тёмным, зажглись звёзды, отчего вокруг стало ещё темнее.

— Грач, как же мы найдём наших?

— Найдём. Если ты со мной — мне везёт. Я тебе говорил об этом. Скажи, ты обо мне думала, когда одна была?

— Думала. Ох, как думала...

— Настя! Настенька!

— Правильно. Это — моё имя.

— Оно самое лучшее на свете. Я люблю его.

Понимала Настя, что не надо это говорить, не следует Грача подводить к черте, за которой уже не удержаться, и радовалась, что не сдержалась, а в голове — туман, и сердце бьётся гулко, без страха и тревоги.

— Тебя люблю. Имя твоё люблю. Всю до капельки люблю. — Он привлёк её к себе, взял в ласковые, сильные объятия, и она на миг притихла, словно потеряла сознание. — Что мне сделать, чтобы ты поверила?..

Настя плыла на самом гребне горячей туманной волны, не сопротивлялась, не отталкивала его руки, только спросила шёпотом:

— Ты что делаешь? Зачем? Не надо!

— Это счастье, что я тебя нашёл. Посмотри на меня. Есть в моих глазах неправда?

Она всматривалась в его глаза, в вечерних сумерках они были глубокими, тёмными, — и, ничего в них не увидев, кроме отчаянного призыва, провела пальчиком по его густым бровям, что почти сошлись на переносице, шепнула доверчиво и успокоенно:

— Ничего не вижу...

Казалось, всё исчезло вокруг, и нет ничего на свете, кроме этого бесконечного восторга! Сейчас она была не в зелёном, высланном прошлогодней хвоей шалаше, а в каком-то прекрасном, дивном крае, к которому долго и тяжело добиралась и, наконец, пришла, а потому на душе у неё светло и радостно...

Загадочно мерцали звёзды, ставшие такими вдруг близкими, словно они запутались в рогатых стволах ели. Ошеломлённая тем, что случилось, Настя молчала. Жадная, грубоватая ласка Грача опустошила, и она, уставшая, радостная, вслушивалась в непонятную лёгкость своего тела, не стыдясь того, что не оттолкнула Грача, а порывисто ответила на его поцелуй, ничего ему

не запретила, и сейчас лежит в его объятиях, ощущая ласковое движение его рук в волосах, за ухом, на затылке.

Она поймала руку Грача, стала перебирать по одному, будто пересчитывала, его пальцы, и он делал то же самое, и руки их сплетались в ласковой, нежной игре.

На рассвете Настя открыла тяжёлые от сна веки. Сквозь лохматые ветки хвои пробивался серый промозглый туман. Услышала около своего уха хриплое дыхание и не сразу поняла, где она и что произошло с ней. Онемели замерзшие ноги, она поджала их под себя, сон прошёл, и всё стало на свои места. Грач что-то пробормотал во сне и, не просыпаясь, сильнее прижал её к себе, и Настя, укутанная теплом, которое поплыло по ногам, мгновенно успокоилась. Как хорошо, что она не одна в этом диком и дремучем лесу, в котором пережила столько и ужаса, и радости. Снова проваливаясь в сон, она подумала, что мужчина должен быть именно таким, он не должен обращать внимание на женские капризы, не замечать её слабость, чтобы женщина могла спрятаться за его широкой спиной, довериться его мужеству, надеясь на его силу и верность.

Когда Настя снова проснулась, Грач уже не спал, смотрел на неё: показалась, что именно от его взгляда она и проснулась. В его глазах не было того тепла, которое поселилось в её сердце от добрых слов и поцелуев, и от того было неловко и стыдно.

— Светает? — спросила она и удивилась: голос звучал незнакомо, словно простуженный.

— Кажется, уже полдень, а мы с тобой спим как убитые!

Он сильно, порывисто, но торопливо поцеловал Настю и приподнял рогатые ветки. Было совсем светло — над лесом висело солнце, — на вереске блестела крупная густая роса. Кое-где в лощинах висел плотный, тягучий туман. Грач вёл себя немного странно, стал сосредоточенным, замкнутым, ласковых слов не говорил, судя по всему, больше и не собирался их произносить. Она вначале разволновалась, а потом даже сама себя заругала: слов, видишь ли, ласковых ей захотелось. А кто будет искать дорогу? Ты же идёшь за ним, не зная забот.

Через некоторое время она почти бежала, чтобы не отстать от Грача.

Такое позднее их возвращение, как показалось Насте, никого не удивило. Впрочем, некому было особенно и удивляться... Конопелько, услышав голос Грача, приподнял голов, глянул бессмысленными сонными глазами и снова упал на лапник. Черкас лежал неподвижно, скрутившись, на соседней подводе. Зуев хлопотал около котелков, что стояли рядом около того места, где вчера горел костер. Дрова упорно не хотели разгораться.

Грач вёл себя независимо: посоветовал Зуеву положить под дрова смоляную чурку, потом подошёл к погребу и стал о чём-то говорить с бойцами. В его голосе Настя услышала командирские нотки. И эта уверенность потихоньку передалась Насте, она обрадовалась, что никто даже не спросил, где это они пропадали всю ночь.

Волнение, тем не менее, подкрадывалось к сердцу, и Настя особенно чувствовала его холодную остроту каждый раз, когда в поле зрения попадало скрученное тело Черкаса. Вчера он попросил, чтобы его не заносили на нары в погреб, а оставили на подводе. Не захотел слезать с подводы и Конопелько, самый, казалось, спокойный боец среди раненых: глянул на Грача, бухнулся на лапник и снова спит.

Конопелько проснулся, когда Настя направлялась посмотреть Черкаса, проснулся неожиданно, как раз в тот момент, когда она поравнялась с передним колесом и на телегу упала тень. Он подхватился, сел и, протирая левый глаз тыльной стороной ладони, правым уставился на Настю. Потом мотнул головой, по-мальчишески подмигнул и спросил:

— Что — завтрак?

Она оторопела, потом развеселилась:

— Будет и завтрак, Зуев уже костёр соображает. Тогда и приготовим.

И он снова, закрыв лицо руками, притих, будто не просыпался. Насте даже показалось, что разговор с Конопелько ей просто померещился.

А Черкас не спал. Повернув голову, лежащую на соломенном валике, следил за Настей.

— Где была? — спросил он неожиданно и резко.

Подготовленная к этому вопросу, она всё же растерялась, потому что от Черкаса такого не ожидала.

— Где была? — переспросила она с искусственной улыбкой. — Там уж нет...

Широко открытые глаза Черкаса смотрели устало и печально.

Он медленно поднял руку, подозвал к себе — попросил наклониться. Десятым чувством Настя догадалась, что Черкас начнёт расспрашивать о своём здоровье, а ей так хотелось избежать этого разговора.

— Скажи, только честно... Что меня ждёт? Посмотри раны и скажи, есть ли у меня надежда выжить?..

Она осмотрела засохшие бинты на плече и на ноге, увидела темную, ступившуюся за ночь красноту, которая казалась теперь глубокой, словно лезла изнутри, и, сжавшись от внутренней боли, жалости и стыда, что приходится обманывать, сказала бодро:

— Не так уж и плохо. А ещё наши медикаменты привезут... Потом в госпиталь положим, и совсем будет хорошо.

Он слабо похлопал её по руке, сказал отстранённо, но без обиды, словно сам себя упрекая:

— Ты ещё не научилась обманывать. Пусть тебе повезёт. Тебе и повезёт, я сон видел. — И добавил строго: — Иди, тебя ждут. Вахтанг всю ночь стонал.

Черкас закрыл глаза, как будто сразу крепко уснул. Настя пошла от него молча, страдая от неправды, которую сказала Черкасу.

...Но разве она в чём-то виновата? Она ничего не сделала худого. Она — любит, и любят её. Вон он, Грач, её любимый, стоит около погребца, машет рукой, зовёт к себе!

Она подбежала, остановилась в радостном ожидании, смотрела на него спокойно и ласково.

— Что там? — спросил Грач.

— Конопелько спит. И Черкас, кажется, уснул.

— А тут не спят. Тебя ждут, как Бога.

Эти слова были адресованы не ей, а тем, кто лежал на нарах в погребе, и она Грача поняла: хочет, чтобы все видели в нём командира решительного, смелого, справедливого. Ей же предназначался взгляд, полный восхищения и преданности, и Настя поняла это, и оттого снова затуманилась голова, радостно забило сердце.

— Я сейчас всё сделаю, — проговорила она сдержанно. — Всё сделаю как надо...

Настя осмотрела и поправила повязку комиссару, помогла напиться молчаливому, неразговорчивому Буркуну, посидела около Авдошко, что-то ему объяснила. Время от времени она снова и снова поглядывала на комиссара. Тот лежал неподвижно, но дышал ровно, и дыхание его было глубоким, как у человека, утомлённого тяжёлой работой. Комиссару, кажется, ничто не угрожает, завтра он наверняка поднимется и будет чувствовать себя совсем неплохо. Она обещала это Грачу.

Растерялась Настя немного позже, когда взглянула на жёлтое, измученное болью лицо Вахтанга. Вахтанг лежал отдельно от всех, за погребом, под толстой, почти согнутой в дугу орешинной — сюда на лапник, реденько присыпанный соломой, которую сбросили с подводы, его перетащил утром Зуев. На груди и животе бинты засохли, а в середине промокли от крови, она даже боялась сразу до них дотрагиваться. Под бинтами пульсировали, дрожали порванные железом оголённые мышцы; в одном месте на правой груди выширало из-под бинтов, едва не пропарывая их, сломанное ребро или острый, как заноза, осколок. Заметила, что правая штанина порвана, а на колене буквально разодрана на куски — разволновалась ещё больше. Значит, у Вахтанга и нога ранена, но не перевязана до сих пор. Вахтанг открыл тёмные, словно кофейные зёрна, глаза, застонал.



— Зу-е-ев!..

Зуев подскочил, склонился над ним.

— Что, генацвале? Болит? А ты терпи. Терпи, казак, атаманом будешь. Может зверобоя дать? Сейчас дам холоденького.

— Сдирай сапоги, генацвале. Нога — огонь. Сдирай их, прошу тебя, как брата.

Зуев немного помедлил, потом с натугой стянул с Вахтанга сапоги, поставил их ровненько, каблук к каблуку.

— Песню, — Вахтанг с трудом пошевелил пересохшими, пепельными от жара, губами. — Кульгана буули, буль-були...

П-от ламчи чамо лю-ли-ко, — подхватил Зуев и перешёл на молитвенную скороговорку. — Песня хорошая. Славная песня, генацвале ты мой. Мы её потом врежем. Шаплько как приедет — сразу и врежем. А теперь спать. Это — спасение. Ты спи. А я — буду петь.

Зуев тихо забубнил, как будто что-то говорил себе под нос. Странные и непонятные слова поразили Настю. А вот мелодия — знакомая. Это же “Су-лико”! Так, так... только слова не наши. Наверное, по-грузински Зуев пытается петь. А голос печальный, словно покойника отпевает или поминки справляет...

От горьких мыслей её освободил Грач. Хотя и на короткое время, но освободил, и она была ему за это благодарна. Он подошёл, поставил около ног ведро, в котором вчера варилось мясо.

— Иди, помой. И воды набери, — попросил он сдержанно и добавил, словно кого-то упрекая: — Надо же еду варить. Война — войной. А живот требует своего: его не упросишь, ему не прикажешь...

Настя чистила ведро вересковым жгутом и слышала всё ту же, только теперь приглушённую, мелодию, которую грустно тянул Зуев. Но вот почему-то затих, почему, интересно? А-а, с Грачом о чём-то говорят. А Грач на целую голову выше Зуева. Плотный, широкий в плечах. Даже отсюда видно.

Настя резко выпрямилась, не выпуская ведра, и перед глазами — долго стояла, низко пригнувшись к ручью, — мелькнули лохматые тёмные пятна, понеслись за ручей, к тёмно-синим кустам можжевельника, что приземистыми стожками осели на луговине около орешника. У Насти даже ведро задрожало в руке. Кто-то же стоит за этими стожками. Затаился и следит за ней. А она не взяла карабин, как будто ненужную игрушку бросила в погреб.

Только решила бежать, оглянулась и увидела Грача. Он шёл к ней и нёс карабин. Он нёс его, взяв за ствол, перекинув через плечо. Красиво, уверенно идёт. И никого нет около того можжевельника. Чертовщина какая-то в голову лезет. Это хорошо, что от страха не закричала, не побежала к подводам Зуеву на потеху!

— Бери свою пушечку, — он протянул ей карабин. — Оружие не бросай где попало. Пусть лучше на плече висит. Конечно, тяжело и неудобно, зато — под рукой. Теперь без оружия нельзя!

— Учтём, товарищ командир!

Увидела в волосах Грача хвоинку, взяла её, задержала в пальцах. Ожила в памяти дивная ночь. Трудно, как и тогда, выпутывалась из волос хвоинка с капельками живицы...

Солнце снова садилось над болотом, такое же большое и огненное, как вчера. Усевшись на вереск, около сосны, рядом с Настей, Грач долго смотрел на солнце, потом глубоко вздохнул:

— Ты когда-нибудь такое солнце видела?

Она не успела ответить, слух выхватил гулкий стук копыт:

— Слышишь? Копыта стучат, это наши едут! — и схватила Грача за руку.

— Сорока это. Где-то там, кажется, около груши. А тебе — кони...

— Почему они так долго, ты вот что мне скажи. Неужели — боюсь даже подумать — какая беда приключилась?

— Никакой беды с ними приключиться не может. Лабук — оторва. И Шаплько ему не уступит. Утром вернутся. И то, что они задерживаются, признаться, меня мало беспокоит...

Грач обманывал, и это было заметно. То, что Лабук и Шаплыко не вернулись в условленное время, Грача сильно волновало ещё утром. В полдень он вообще не находил себе места, несколько раз бегал к груше-дичке, откуда хорошо просматривалась дорога, которая шла от смолокурни по краю болота и исчезала в лесу, а вечером, когда солнце быстро покатилось на запад, тревога одолела его по-настоящему. Настя делала вид, что ничего этого не замечает. Она охотно пошла за ним к груше, потом сюда на опушку, к этой стройной сосне. Около неё, как будто около столба, дорога круто брала вправо. По этой дороге поехали в разведку Лабук и Шаплыко, по ней и должны будут вернуться. Тревога привела сюда Грача, и теперь его слова звучали невесело и неискренне.

— Мало беспокоит? — переспросила, как будто не расслышала его слов, Настя и посмотрела с укором на Грача. — А что тогда не даёт тебе расслабиться?

— Тишина. Мы последний раз канонаду слышали утром, и вот до сих пор тишина. Целый день, как в мешке: хоть бы один взрыв, выстрел, только птицы поют да ветки шумят...

Грач положил Насте на плечи руки. Но она высвободилась из его объятий, высвободилась не очень настойчиво и решительно, и тогда он грубо повалил её на вереск, упал рядом, не давая ей подняться.

— О-ой, ну зачем ты так? — прошептала она, вслушиваясь в то новое, что одуряющим огнём начало бить в виски; на миг ей показалось, что макушка сосны пошатнулась и поплыла в близком сиреневом небе.

Грач гладил её волосы, пальцы погружались в них, сжимали затылок, а губы целовали страстно и жадно, голос его звучал глухо, как будто он только что быстро поднимался в гору:

— Молчи, молчи, молчи!

— Нас же увидят!

— Кто нас увидит? Нет тут никого.

— Дорога. Мы же около самой дороги...

И снова, как той ночью, сопротивлялись только слова. А в руках уже была своя жизнь, и своя жизнь была в устах, которые так же жадно ловили губы Грача, и в закрытых глазах Насти колыхался огромный огненный вереск.

Они вернулись к смолокурне, когда солнце уже зашло, и в том месте, где оно спряталось, расплылась темная хмурая полоса.

— Завтра, наверное, нагонит дождь, — сказал Грач, стоя около натянутой конусом плащ-палатки. — Солнце в тучу зашло. Верная примета.

— Может, всех в погреб перевести? Или в дощаник.

— Никто не хочет. Я спросил. Спи.

Настя лежала на лапнике, на котором было немного соломы, и старалась от всего отключиться. Воспоминание о вереске около стройной высоченной сосны совсем расслабило уставшее тело. Настя почувствовала, что засыпает. Она поджала ноги, попыталась натянуть повыше воротник кофточки, чтобы не кусали комары, но из этого ничего не вышло, и она подумала с блаженной усмешкой: ну и ешьте, проклятые. Всё равно за ночь не успеете всю мою кровь выпить, захлебнетесь. И диво-дивное: сразу же стало тепло. И куда-то исчезло тонкое нудное гудение, она поплыла, и стук в висках совсем утих.

Через какое-то время — сколько спала, не знала, — Настя проснулась. Услышала приглушённые голоса — Грач что-то настойчиво доказывал комиссару — и подхватила, словно кто-то подбросил её на лапнике. Значит, пришёл в себя комиссар! О-о-о, радость какая. Но всё же чего добивается от него комиссар. Надо подслушать!

— Товарищ комиссар! Вам надо спать. Снова лечь и спать, — голос Грача звучал монотонно и немного раздраженно. — Тогда завтра вы будете совсем здоровым. Немного прошли, и достаточно. Нельзя же сразу — стометровку гнать!

Стало тихо. Но вот в отдалении послышался хруст папоротника, но не около орешника, а рядом с дощаником — ближе к болоту, и голос Грача...

— Зуев, ты?

— Он самый.

— Почему так рано идёшь? Я же приказал: через полчаса.

— Да часы эти подводят. Сильно уж стрелки светят — не по-нашему, одним словом, барахло это трофейное мне Шаплыко сплавил. Специально, наверное...

— Шаплыко своё ещё получит от меня за них, чтобы знал, как приказ выполнять...

Шаги, отдаляясь, заглохли совсем. Только было хорошо слышно, как где-то справа от болота трижды, с ровными интервалами, бухнул пугач. Как только затихло слабое эхо, мягко зашаркали шаги, и Настя увидела около палатки слабую тень. Она поняла, что это Грач, но всё же шёпотом спросила: — Кто?

— Да я это. А что тебе не спится?

— Немного подремала, а потом проснулась. Это голос комиссара я только что слышала?

— Ну... Очнулся, спасибо всем богам. Но ещё больше тебе спасибо — сбьлись твои слова. Считаю, с того света вернулся. А завтра у нас тяжёлый день. Вернётся разведка — сразу на марш. Приказ комиссара.

Сердце гулко билось, Настя радовалась, что Грач рядом, что с ним можно говорить, и не хотела, чтобы он уходил.

— Но всё же, куда делись наши?

— Где-то спят, устали и спят. Точно тебе говорю...

Настю разбудило конское ржание. Открыла и снова закрыла глаза — таким резким и ярким был солнечный свет тихого утра. Может, это ещё сон? Нет, не сон. Снова заржал конь, начала тонко вызванивать пила: жив-жив...

Быстро провела рукой по лицу, отгоняя сон. Разведка, значит, вернулась. Шаплыко поит коня у ручья. Лабук и Зуев что-то копают около тонких осинок, что кучкой растут между орешником и берёзами. Грач стоит около подводы — разговаривает с каким-то незнакомым человеком. Хотя нет, это же комиссар. Грач наклонил голову, внимательно слушает комиссара, лицо его — сумрачное, озабоченное.

Порывисто, с какой-то отчаянной радостью Настя выскочила из палатки:

— Доброе утро!

Комиссар глянул на неё неприветливо, как будто был недоволен её появлением, ответил издали кивком головы и направился к осиннику. Грач пошёл за ним. Но, сделав несколько шагов, подбежал к Насте. Во всём его облике чувствовались растерянность и озабоченность.

Она поняла, что Шаплыко и Лабук привезли не радость, а что-то нехорошее, и, всё ещё не веря в плохие новости, повторила:

— Доброе утро!

— Утро, как видишь, доброе, — он пожал и немного задержал её руку в своей. — А новости добрыми не назовёшь. Плохие новости!

Только теперь бросилось в глаза, что всё вокруг выглядит совсем не так, как вчера. Вымокла и почернела от росы плащ-палатка, какие-то узлы горбятся на подводе. Где лежал обычно Конопелько, желтеет песчаный бугорок под молодыми осинками. Около него хлопочет Лабук. Вчера Грач запретил обрывать листья с этих осинок, а теперь как-то равнодушно смотрит на то, что Лабук обсекает нижние ветки осин блестящим на солнце трофейным тесаком.

— Почему они плохие? — Настя всё ещё не верила. — Не нашли госпиталь?

— Какой тебе госпиталь? Фронт уже за Двиной. То, что беспокоило меня, то и случилось.

— Фронт откатился за Двину? Не может быть!

— Может, к сожалению. Наши разведчики едва оттуда ноги унесли. Поехали на двух конях, а вернулись, видишь, на одном. — И вдруг, поняв, что сказал лишнее, цокнул языком: — Все мои надежды — вон с катушек...

— А как же мы? Как же мы теперь?..

— Как? Да никак. Всех богов разом просить будем. Ну, я побежал. Комиссар зовёт!

Лабук салютовал тесаком, и в неглубокой проеме посредине лезвия, вычищенного сырым песком до блеска, как будто блеснул огонь.

Конопелько поздоровался, не поднимая головы. Шумно сопел Лабук. И Насте показалось, что они отодвигают её от своего занятия, всем видом просят отойти, не мешать.

Настя подошла к Шаплыко. Он был ей рад, приветливо посмотрел на неё. Но разговаривал не с ней, а с конём:

— Пей, голубчик, пей, родненький. Когда ещё придётся такую сладость испить. — И кивнул головой Насте: — Привет, привет... — И снова обращаясь к коню: — Чего это ты на лесную красавицу косишься? Даже мне позволено на неё только изредка глянуть.

— А где другой конь? — спросила Настя, надеясь, что услышит от него совсем не то, о чём говорил Грач.

— Что конь... Полоцк у немцев, Витебск — у немцев, Минск — ими же забран. Прут дальше, и такое чувство, что остановить их некому!

В сердце взорвалось несогласие, протест, злость на то, что приходится слышать, взорвалась обида на то, что Шаплыко так равнодушно сообщил ей горькие новости, и она выпалила в это незнакомо изменившееся, заросшее щетиной лицо:

— Врёшь! Не верю!

— А ты попроси у Грача карту и посмотри.

— Зачем мне его карта?

— Немецкая карта, не его. И около каждого нашего города стоит дата: день обозначен, когда этот город должен быть занят. До самой Москвы — каждый городок обозначен.

— И Москва, ты хочешь сказать, обозначена?

— А ты иди и посмотри. Вон, комиссар с Грачом эту карту снова изучают. Крутит, о-ой крутит головой наш комиссар Вальмус. Только и остаётся теперь, что головой крутить.

— А откуда эта карта взялась у тебя?

— Да легковушку мы кокнули. Под самым Полоцком. Когда назад уже ехали, около Экимани. Три туза в ней катили — будь здоров. Мы с Лабуком, наверное, в рубашке родились. Ему пилотку пуля снесла. А мне, видишь? — в пряжку тюкнула, даже ремень перекрутился — как будто заранее знала, что живот Шаплыкин надо спасать. Пуля срикошетила, но кожу все же зацепила. И коню досталось. А на этом Лабук ехал.

— А другого коня убили?

— На хуторе бросили. Хозяин обрадовался: хороший конь, сказал. Рана — быстро заживёт.

Настя решила подольше задержать Шаплыко, чтобы подробнее расспросить о том, что же дальше будет.

— Богатство Конопелько спрячет. Решили тот железный ящик — там же и касса полковая! — тут оставить. Они пойдут, а мы этот тайник охранять будем.

— Кто это “они”? И кто это “мы”? Я чего-то не понимаю.

— А разве Грач тебе ничего не объяснил? Раненые останутся здесь. А все здоровые — на марш. Сегодня вечером и отправятся. Комиссар Вальмус приказал: догнать и перейти линию фронта. К своим пробиться. Поправился и начал приказы клепать.

Он говорил правду, она это сразу поняла, и от этой правды у неё заныло сердце. Вот, значит, что прячется за этим “мы” и “они”! С ранеными прикажут остаться ей — ясно как день. Именно это и скрывается за неуверенными словами Грача: “Всех богов вместе просить будем”. Вот отчего легла тень растерянности и озабоченности на его лицо. Надо хотя бы ещё на минутку задержать Шаплыко, чтобы узнать более подробно обо всём. Наверняка он ещё что-то знает!

— А кто раненых будет лечить, кто будет за ними ухаживать? — спросила Настя, сдерживая дрожь, от которой у неё озябли даже пальцы на ногах.

— Ты да я, да мы с тобой!

— Долго тебя ждать, Шаплыко? — теперь уже зло окликнул Конопелько.

— Иду! Сказал же! — Шаплыко хлопнул концом поводка по ладони. — Не терпится им там, работничкам поповым, — и протянул Насте гибкий, как уж, повод. — Отведи коня на луговину — пусть пасётся.

— Он же убежит?

— Не убежит, набегался за эти дни. — И неожиданно на его лицо пробежала улыбка, добродушная и доверчивая — А ты спать мастак! Вёл коня к ручью, позвал тебя, даже специально потопал. Не проснулась. Спишь, как ангел на небесах! Они уйдут, так я твой сон охранять буду: спи, сколько душе угодно.

— Я тут не останусь, тоже пойду. Я никому не подчинённая.

— Ты же комсомолка, — заметил Шаплыко. — Ну вот... По комсомольской линии Вальмус тебе и определит задание. А на стенку не прыгай. Врач? Считаю, почти дипломированный специалист. Раненых бросить не имеешь права? Вальмус говорит: наша задача — фронт догнать. Раненые выздоравливают и тоже пойдут догонять фронт. А зачем его догонять? Не исключено, пока ты будешь за ним бежать, он сам сюда прикатит. Поэтому ещё неизвестно, что ловчей: мозоли на пятках нагонять или тут, около ручья, роскошничать.

“Они, значит, пойдут. А меня бросят тут, в лесу...”

Грач приближался, он был почти рядом, и Настя с ужасом почувствовала, как разрушается, буквально разваливается цепь её логичных доказательств, и она выдохнула в отчаянии:

— Это правда, что вы решили? Решили бросить меня здесь?

Грач как знал, что именно об этом она и спросит, ответил грустно:

— Приказал Вальмус. В армии, как ты знаешь, не решают, а отдают приказы.

— Ты... Ты считаешь его приказ правильным? — Грач вздохнул и с сожалением признался:

— Другого выхода нет...

— Я всё понимаю, — медленно, с удивительным для себя спокойствием заговорила Настя. — Я всё вижу...

— О-о, если бы ты всё видела, если бы всё понимала!

— Вижу! — голос её зазвенел. — Вижу и понимаю! Каждый, каждый спасает только себя. Всех остальных — под ноги, под ноги!

Лицо Грача стало пепельно-бледным, словно помертвело, потом на щеках, над уголками губ расплылись неровные красные пятна.

— Т-ты... — наконец его губы дрогнули. — Ты считаешь, что Грач подлец. Он спасает только свою шкуру?.. Прости, я не сказал главного. Я же вернусь! Сюда вернусь! Без тебя мне не жить. Поэтому я вернусь сюда. Только ты — жди меня!

Он протянул руку, чтобы погладить её по голове. Но Настя дернула головой, как бы оттолкнула его руку, вздохнула, теперь уже с горьким сожалением:

— Что же делать? Закон войны: жди! Жди, голубка, и он — придёт!

Он помрачнел, кулаком раздражённо потёр подбородок, сказал глухо, с горестным раздражением:

— Да пойми же... Пойми! Ведь ты не ребёнок!

— А разве ты не видишь? Я пытаюсь, пытаюсь понять...

Что-то мучило Грача, но он пересилил себя, пригасил раздражение, приказал деловито и требовательно:

— Всё необходимое на первое время Шаплыко и Лабук — спасибо им — из какой-то аптеки выхватили. И мешок нагрузили, что под руки попало, — посмотришь потом, что к чему. И ещё: в дощанике лежит залатанный второй мешок — в нём продукты. Маловато, правда. Ты почему не слушаешь?..

— Я слушаю, слушаю!

— Через день-другой Шаплыко подскочит на хутор — тут каких-то километров десять. Картошки возьмёт, ещё сала, хлеба. Хозяин, Шаплыко говорит, рвач, жадный к деньгам. Но нам с ним детей не крестить. И деньги — Вальмус приказал — не жалеть.

Около болота позванивала пила, и Настя, слушая это протяжное, с надрывом — “жиу-жиу”, ужаснулась, осознав, какая бездна открылась перед ней. Вконец растерянная, она всё же была в состоянии рассуждать о том, что произошло. Грач наклонился, заглянул ей в глаза:

— Ты плачешь? Почему?

— Нет, смеюсь, — сказала Настя, пытаясь сдержать горькие слёзы обиды и отчаянья.

— Ты плачешь, — заговорил он ласково, отчего Насте стало совсем плохо. — Я понимаю, на твоём месте трудно не плакать. Зато легко выбрать другой путь. Без печали и забот.

— О каком другом пути ты говоришь? Нашёл время загадки задавать...

Грач обхватил ладонью подбородок, словно зажал его в кулак, заговорил хмуро:

— Бросить эти подводы к чёртовой матери, — вот тебе и другой путь. Кто они мне, эти люди?! У них своя дорога, у меня своя. Наши пути пересеклись случайно, и я не присягала, не клялась, что пойду с ними до конца.

— Что ты говоришь. Ведь люди в беде, они беспомощные. Это же наши люди!

— Наши! Это всё, что осталось от нашего полка. Мы были вместе в том бою. Они верят комиссару и мне верят. А я верю тебе. И знаю, что ты их не бросишь. И ты должна верить: я вернусь. Слышишь?

Она подавила горький всхлип:

— Слышу... А вдруг что-нибудь...

— Где? Здесь? Кому придёт в голову перетянуться в эту чащобу? В конце концов, сюда не так просто и пробиться, — неожиданно в его голосе зазвучали бодрые нотки. — А со мной — не волнуйся! Ничего не случится. Вернётся твой Грач.

— А вдруг...

— Ты слышала, что сказал Грач? Он — вернётся!

— Это — возмездие... Бросила раненую мать. Теперь меня бросают.

Грач недовольно прервал её:

— Суеверие какое-то: возмездие, возмездие... Никто не знает, какая судьба у вагона, в котором осталась твоя мама.

— Что ты хочешь сказать?

— А то... Думаешь, сладко тем, кому пришлось отступать в эшелонах? Шаплько и Лабук около Фаринова, под Полоцком, сплошные трупы около железной дороги видели. Километра на два, говорили, искорёженные вагоны лежат под откосами. Мост на Двине грохнули. А эшелоны шли и шли... Как только остановились, друг за другом в ряд, немцы их и накрывали с воздуха. На бреющем полёте расстреливали людей.

— Зачем, зачем ты мне это говоришь?

— А догадаться не можешь? Чтобы жить... Чтобы меньше на свою судьбу обижалась. Чтобы знала, что лёгкого пути у нас с тобой нет и не будет. Сегодня только седьмой день войны. А сколько уже пережили, сколько ещё придётся пережить, кто знает?

Неожиданно отлегло от сердца. Настя даже улыбнулась. Она понимала, что действительно другого, как говорит Грач, выхода у неё нет, и надо примириться, приспособиться к тем обстоятельствам, в которых она оказалась не по своей воле.

Грач пригладил волосы, рукав гимнастёрки натянулся, и на запястье заблестели часы.

— О! Девятый час, — он начал покручивать маленькую горошинку на блестящем ободке.

— А солнце уже так высоко.

— Как раз над нашим местом и стало солнце. Пойдём туда. Это ж близко, если напрямую. Дорогу я знаю! Пойдём!

— Скажешь тоже... Сколько глаз смотрят на нас.

— Им — своё. Нам — своё. Прошу тебя...

Сердце её забило. Она была благодарна Грачу за то, что он звал её туда, где им было так сладостно, в том зелёном, уютном местечке под вековой

елью. А сказала то, о чём говорить вовсе не собиралась, сказала, как отсекла, беспощадно и жёстко:

— Нет!

Под вечер, устав от ожидания, растерянная оттого, что не может помочь Вахтангу, в предчувствии чего-то недоброго, Настя медленно шла тропинкой вдоль болота. Снова, как вчера, позавчера, пошла к старой, но на дивостройной и тонкой сосне, где тропинка, начинавшаяся сразу около смолокурни, круто поворачивала вправо и вела в только ей известном направлении. Села на вересковую кочку, свела в замок руки на коленях и вдруг почувствовала, что сейчас расплечется. Около смолокурни всё время ловила на себе настороженные взгляды раненых, а в глазах Конопелько так весь день была злая подозрительность, он следил за каждым её шагом. Насте приходилось делать вид, что всё идёт хорошо. И вот, едва прислонилась спиной к широкому стволу, сразу почувствовала страшное опустошение, куда-то улетучилась напускная бодрость, уверенность, показной оптимизм.

Вчера она ещё на что-то надеялась — Грач обещал, что Шаплыко — четырнадцать километров до железной дороги, столько же назад! — вернётся на рассвете. Сегодня она потеряла всякую надежду. Душа её яростно сопротивлялась дурным предчувствиям. Она выискивала какие-то оправдания и тут же перечёркивала их, издеваясь над собственной доверчивостью. Пусть, в конце концов, и двадцать пять! За это время можно было полсотни километров и пешком одолеть. А он на коне, должен бы уже вернуться. Неужели что-то случилось непредвиденное, что разрушило его планы. А может, вообще все наши планы?

Настя вглядывалась в лесную чащу, куда убежала заветная дорожка, но подняться не было сил, и она сидела уставшая, опустошённая от горестных мыслей, не чувствуя никакого желания вскакивать и бежать в эту темнеющую, пугающую даль... Куда и как ей бежать? Да и никак нельзя. Эти, что лежат в погребке, без неё просто пропадут. Кто им подаст воды, кто перевяжет раны? А может случиться и так: она решит бежать, а Грач сюда вернётся. Он же обещал! Он же любит её! Как же отчаянно и смело любил он, как потянул за собой в этот дивный, сладкий омут...

Тонкий, но резкий звук — похожий на удары железа, — возник в глубине леса. Настя схватила карабин, который лежал справа, примяв вереск. Звук повторился, но теперь к нему присоединился мягкий топот копыт, и Настя почувствовала, как мгновенно пересохло во рту. Это же Шаплыко катит по лесной дороге. А она расселась здесь, не хочет бежать навстречу. А что, если это не он?

Радость остудило обострённое чувство тревоги. Почему только топают копыта и не слышно, как лязгают по корням колёса телеги? Когда Шаплыко провожал Грача, подвода долго гремела в лесу. Кто-то едет верхом.

Она, словно уж, поползла по вереску, подальше от лесной дороги и вдруг услышала знакомую мелодию, которую тихо насвистывал Шаплыко.

“Шаплыко, роднейший мой! Вернулся!”

Вскочила на ноги, но ноги, как связанные, запутались в тёплом вереске, и она стояла на месте, а из груди вырывался радостный крик:

— Шаплыко! Где же ты был? Где ты болтался, Шаплыко?

Широко и радостно улыбаясь, он приблизился к Насте, бросил поводья на тонкий, словно веретено, можжевельниковый куст и сам как-то тихо, по-старчески кряхтя, опустился на вереск.

— Не поздороваются, о здоровье не спросят... А только, как злая жена: где был, с кем болтался, паразит ты несчастный, так долго?..

Сразу отлегло от сердца. Раз шутит, значит, там, откуда вернулся, беда не стряслась, ничего плохого не произошло.

— Ну, добрый вечер! Сто раз тебе добрый вечер, — говорила она, а сама радостно смеялась, прижимая к груди карабин. — А у нас тут всё нормально, только заждались. А у тебя? Да говори же, не молчи!

— А ты карабин положи, поставь около сосны.

— Ну, хватит тебе шутить. Хорошо ли всё прошло у вас? Почему на коне? Куда делась подвода?

Он снял с груди автомат, бросил на вереск, отстегнул и туда же бросил ремень с запасным диском и тесаком в коричневом футляре.

— Дай отдышаться... Тогда и расскажу... Почему на коне? Потому что подводы нет. А подводы нет, потому что оси сломались.

— А Грач? А Вальмус? Как они пошли?

— На своих двоих, как говорится. Хорошо пошли. Думаю, что им повезёт.

— А Грач что-нибудь сказал?

— А что он должен был сказать? Всё здесь перед походом было обговорено.

— Черкаса где оставили? В какой деревне? Кто будет за ним ухаживать?

— Сыра земля теперь будет за ним ухаживать... — Глядя не в лицо Насти, а на руку, которой она закрыла рот, из которого вырывался немой крик, объяснил жёстко, как будто злился, что у него об этом спрашивают, а он вынужден отвечать: — Нет Черкаса. Убит Черкас...

Она оторвала руку от губ, и они судорожно зашевелились, выдавив слова, которые Шаплыко тут же и повторил:

— Как случилось?... Когда перебирались через железную дорогу, у нас оси треснули. Вначале передняя, потом задняя. Чёрт их не брал, когда тряслись по лесу. А там — понимаешь, колёса увязли. Да ещё конь дрезины испугался, рванулся вперёд...

— Дрезины? — вырвалось у Насти, она ужаснулась при одной только мысли, что там, на железной дороге, случилась ещё большая беда, только Шаплыко об этом пока не хочет говорить. — Вы что, на фашистов напоролесь?

— Не мы, а они на нас налетели. Проклятая случайность. Или, точнее, ошибочка наша вышла: сунулись на железную дорогу без разведки. Если бы нас не прикрыл Черкас...

— Его, как я понимаю, вы бросили, — сказала Настя с горечью.

— Он это ещё здесь, в лесу, задумал. Потому и просил комиссара, чтобы его вывезли отсюда. То и замыслил, чтобы умереть в бою. Он ещё на насыпи потребовал, чтобы его с подводы сняли. С полчаса, наверное, там с ним Вальмус спорил. Тут, как на беду, и накатила дрезина. Он — гранату в руки — и закричал, чтобы его не трогали и чтобы мы в лес бежали. Черкас, между прочим, мне ещё дорогой говорил, что хочет погибнуть в бою. Я не поверил его словам: думал, бредит... А он осмысленно на всё пошёл... Нас Черкас спас, это как ясный день. Он там долго ещё отстреливался. Потом граната взорвалась. Мы уже были на краю леса. Вечером в том лесу и расстались. Они пошли на Витебск. А я повернул назад. Да не туда повернул. Ночь. Долго бродил...

— Все эти дни ты искал?

— И искал, и стрелял, и чуть не плакал. Потерял дорогу, хоть ложись и помирай. Меня этот Белянчик и спас. Наш, колхозный, — под расписку взял у бывшего бригадира. А какой умный конь, если бы ты знала. Когда я уже совсем был в отчаянии, остановился мой Белянчик. Стоит. Что, думаю, с ним случилось? А это он наш след нашёл, тот, что мы оставили, когда с Лабуком ехали...

— А почему ты не говоришь о главном? Почему не говоришь, где фронт?

— А потому что нечего говорить, потому что никто ничего не знает. А то, о чем мы тогда с Лабуком узнали, — так это точно. Всё подтвердилось. Сидят они в Полоцке, в Витебске, в Минске, хотя в это трудно поверить. Вся железная дорога восстановлена.

— И поезда идут?

— Идут.

— А как же Двина? Что, наши им все мосты оставили?

— Мосты взорваны. Они понтоны навели. Временные. А смотри — диво! Видишь, какое солнце? Погода как по заказу...

— А я не обратила на это внимания. Лето, оно и есть лето. Тепло и хорошо...



Она говорила машинально, чтобы только не молчать.

— Я на то, что погодка, как по заказу, тоже не очень-то обращал внимание, — подхватил разговор Шаплыко. Настя снова подумала, что он говорит о погоде только потому, что пытается спрятать от неё другие мысли, которые его угнетают, не дают покоя.

— Ты какой-то злой приехал.

— А не с чего веселиться. Если кто будет в деревню проситься — будем на историю с Черкасом напирать. — И повернул разговор в другое русло: — Может, Конопелько этого хочет? Ты только правду говори, не скрывай...

Сделалось горько и неприятно. Неужели Шаплыко ей не доверяет и осторожно подсовывает роль доносчика. Она, оскорбившись, выпалила:

— Не считай людей — и Конопелько в особенности! — глупее себя. Ты думаешь, они не понимают, что комиссар принял разумное решение? Куда им, раненым, сейчас в деревню. В лапы к фашистам? Надо подлечиться, встать на ноги, дожждаться Грача, а потом — дальше идти. Вот на это у каждого надежда...

— А что за поклажа на коне? — спросила она, меняя разговор, который был ей не по душе.

— Была поклажа, ох какая, да растерял почти всю, когда из Погоста убежал — немцев там полно. Вся улица заставлена машинами. Как-то выскользнул. А как — только Богу то и ведомо. Стреляли они по мне, пули как осы над головой... Видно, здесь сильно за меня молились, добрым словом вспоминали и частенько вспоминали, зла не желали...

Она обрадовалась, услышав в его голосе прежние шуточные нотки.

— Что было, то было: по сто раз за день, если не больше, тебя вспоминала. Куда делся, почему не возвращается — с этого день начинался, этим и заканчивался.

— Да и меня сюда тянуло, как будто домой. Веришь ли, как увидел в просвете за деревьями грушу-дичок, так аж засвистел от радости. А на глаза даже слезу нагнало: словно мотался, мотался по белу свету и, наконец, к родному дому прибился.

— И голодный, наверное, всё время?

— Нет, не сказал бы — люди кормили, если просил. А сегодня утром на хуторе даже яичницу с салом поставили. Хозяйке показался похожим на сына. Наверное, потому и расщедрилась...

— Ну, что на коне, говори!

— А-а, на коне. Провиант привез: и хлебец, и сала немного, и какие-то лекарства. Но прежде, чем богатство то смотреть, давай мы с тобой планы наши обсудим. Что я предлагаю? Завтра — отдых. А утром после завтрака ставим нашего Беляка в колёса — и айда!

— Куда это "айда"? — она по-настоящему испугалась, не понимая, что Шаплыко имел в виду.

— По деревням с тобой прокатимся. Надо запастись харчем. Может, людей встретим, которые радио слушали. И вернёмся. Согласна?

Настя обрадовалась, кивнула головой, кивнула так быстро, что больно хрустнуло в шее, и эта боль мгновенно сняла всю подозрительность, недоверие к Шаплыко. Она только сейчас поняла, что одиночества больше нет, что рядом с ней снова есть человек, на которого Грач возложил основную заботу об их маленьком воинском лагере.

Проснулась Настя, когда солнце было уже высоко, и с удивлением обнаружил, что за всю ночь даже не сменила позы. Тело было тяжёлым, задеревенелым, но стоило повернуться, раскинуть в стороны руки, как одеревенелость исчезла, руки стали сильными и подвижными. Она оперлась на локти, приподнялась и сразу же увидела Шаплыко. Он сидел около костра, опустив голову, о чём-то тяжело думал... На костре, который горел почти без дыма, стояли чёрные котелки, в них что-то варилось. Успел, значит, разжечь костёр и поставить на огонь котелки. Хозяйская жилка в нём есть, это она поняла ещё вчера, когда он приводил в порядок всё, что привёз.

Шаплыко, не меняя позы, по-прежнему сидел, запустив руки в вереск, который как будто спеленал сосновый пень, брошенный вчера около костра.

Настя пододвинулась к дверям дощаника и не увидела котелков, их закрыли широкие плечи Шаплыко, на миг показалось, что лёгкий белый дымок выбивается из его чуба.

“Не гимнастёрка ли горит у него на груди? Может, задремал у костра, вот одежда и загорелась...”

Схватила брезентовые сандалики, засохшие, пропахшие дымом, — вчера вечером сушила их у огня, повесив на воткнутые в песок палочки, — и с сандаликами в руке подбежала к Шаплыко. Нет, не спит, моргнули веки, а глаза упёрлись в одну точку, смотрят куда-то перед собой...

— О-ой, и засона же я. — Она поздоровалась, бросила на землю сандалики, начала на ходу их обувать. — Как будто в пропасть провалилась вчера, — и снова зевнула, но теперь коротко, как будто выдохнула. — О-ох... Ты что кухаришь?

Шаплыко как будто не услышал её вопроса, хрипло выдохнул из себя, по-прежнему всматриваясь в неизвестную точку на болоте:

— Вахтанг умер. Наверное, ночью.

Высохшие сандалики резали кожу, как будто в них был песок, и она прижала их ступнями. Дрожь поднималась по ногам холодными кольцами.

— Может, уснул? — спросила, понимая бессмысленность своего вопроса. — Заснул и спит.

— Спит... Только — вечным сном. Я проснулся, когда светало. Авдошко позвал. Напоил его. Тогда Конопелько попросил воды. Потом я с котелком к Вахтангу сунулся. А он — неподвижный. Не поверил, было, что мёртвый, позвал, за руку взял, рука — холодная...

Холодные мурашки ползли теперь у Насте по плечам, и она проговорила сдавленным, дрожащим голосом:

— Вот и навалилась беда проклятая. Одна за другой на нас катит... Ох, как нехорошо на душе.

— У меня не лучше. Ну да ладно, живым о живом надо думать. Ты иди к ним. А я Беляка нашего приведу, в оглобли поставлю. Надо ещё подумать, чтобы сбруя подошла. — Шаплыко незлобиво хмыкнул: — Что ты на меня так смотришь? Что, не понимаешь, куда поедем?

— Почему? Всё ясно.

— Тогда закатывай рукава. Твоя сумка в погребе стоит. В уголке я вчера соорудил полку. Как войдёшь — налево... Только бутылочку тёмную не ищи. Она тут, под орешником. Чтобы не выпили...

В тёмной бутылке был спирт, и такая мысль — припрятать — вначале была и у неё. Но Настя ничего вчера не успела сделать, и то, что Шаплыко перенёс бутылочку из погреба и спрятал под орешинкой, её сильно обидело. Ей показалось, что Шаплыко контролирует не только то, что она делает, но и то, о чём думает.

— Может, Вахтанга пока в лес отвезём?

— Э-э, Вахтангу теперь всё равно, Вахтанг подождёт, пока мы бульбы горячей схватим. — Шаплыко взмахнул рукой, как будто делал кому-то знак. — Вахтанг нас простит. Пусть ещё на небо посмотрит, хотя и неживой. Оттуда, из-под земли, неба уже не видеть...

Настя смотрела вслед Шаплыко, который, ссутулившись, шагал к ручью. Уж очень жестоким он сделался. Смешно — сделался! А разве ты знаешь, каким он был раньше? В конце концов, это ничего не значит. Грач что тебе и всем сказал: “Комендантом лесного гарнизона назначается Шаплыко”. И это приказ, которому ты должна подчиниться.

На нарах в погребке с правой стороны от входа лежали Конопелько и Авдошко, дальше, в тёмном углу, сжался Буркун, укрытый плащ-палаткой, и она не сразу его разглядела.

Поздоровавшись, Настя спросила, стараясь, придать голосу бодрость и уверенный тон.

— Чем хорошим вы меня сегодня обрадуете?

— Двери новые имеем, — поспешно доложил Конопелько. — Теперь наш погреб, как крепость. Ни один комар сюда не просочится.

— Действительно, стало как в доме. Славно! — Настя смутилась, испу-

гавшись, что не спросила у Шаплыко, знают ли о смерти Вахтанга тут, в погребке. Добавила, однако, с деланной бодростью: — Но меня не двери эти волнуют. Что у нас со здоровьем?

— Мы с Авдошко скоро “Лявонику” врежем!

— А Буркун чего молчит?

— Буркун есть хочет, — прозвучало из угла с вызовом, настырно и зло. — Шаплыко, я слышал, бульбу сварил...

Злая настырность Буркуна смутила Настю, она поспешно заверила, что и сало есть, и хлеб, и бульба сварилась — стоит в котелке на огне.

— Так чего мешкаешь? Тащи еду сюда! — потребовал Буркун.

— Сейчас всё будет. Сейчас...

Настя торопливо выскочила из погреба. Под орешинной Шаплыко заводил коня в оглобли и, увидев Настю, кивнул головой — сделал знак подойти к телеге — и, как только она подошла, тихо спросил:

— Снова Буркун буянит?

— Есть человек хочет, — тоже перешла почти на шёпот. — Потому, наверное, и нервничает.

— Уж если родился паникёром, паникёром и умрёт.

Она усмехнулась, а он разрезал тонкий брусочек сала пополам, так же аккуратно распилил булку хлеба и решительно протянул ей:

— Отнеси им. А я сейчас доставлю бульбу.

Почти следом за Настей в погреб зашёл и Шаплыко. Поставив на нарвы котелок с картошкой, над которой беловатым туманом поднимался пар, бодрым голосом объявил:

— Приказ по гарнизону следующий: приступить к принятию пищи.

— Наконец-то хоть один разумный приказ!

— Подкрепившись — на боковую, — добавил Шаплыко, как будто не заметив “шпильки” Буркуна. — А мы — в разведку. Продуктами расстараяемся. — Он выхватил картошку из котелка, остудил её, перекидывая, словно мячик, с руки на руку, и бросил в рот. — И попытаемся узнать, где и что происходит. Вернёмся ночью. Не раньше.

— А как же Вахтанг? Кто его похоронит? — грустно и озабоченно спросил Конопелько.

— Мы и похороним, — деловито проговорил Шаплыко и снова выхватил из котелка картошку. Потом ловко покроил на куски сало и так же ловко порезал житняк. — На опушку вывезем, как просил, там и похороним. А тогда уже — своей дорогой. Ну что насупились? Бульбочка горячая. Вкусная. Но и последняя!

Раздав всем сало, хлеб, свой кусок пристроил на колено, сверху положил ломтик сала и посёк его на ровные прямоугольнички вместе с хлебом, потом, прокалывая эти прямоугольнички острым кончиком тесака, отправлял в рот; жевал со вкусом, причмокивая от наслаждения.

Буркун сжевал сало раньше всех, начал облупливать картошку. Он дул на картошку, срывал пальцами прозрачную кожуру и вдруг заговорил зло, даже угрожающе:

— Если ты, комендант, удрать замыслил... Если ты нас надумал тут бросить... Так знай: мы тебя и под землей найдём. И, как сказал Зуев, научим свободу любить.

— Ну и чурбан же ты, — незлобиво огрызнулся Шаплыко.

— Я тебя предупредил. — Буркун мотнул головой, отбрасывая светлые волосы, которые упрямо падали на покатый лоб; щёки его даже побелели от напряжения, карие глаза, казалось, запали в глазницы, сверкая оттуда колко и непримиримо. — Предупредил! А дальше — делай вывод, как говорится.

— Пойдём, Настя, противно смотреть на этого паникёра.

— Иду, иду.

Но не шла, сидела, как будто приклеенная этими настороженными, полными напряжённого ожидания глазами.

Как пойдёшь, когда пронзают, сверлят тебя эти глаза, полные и отчаянья, и боли? Ноги словно налиты свинцом. И плохо на душе от слов Шаплыко.

Настя пододвинулась ближе к Буркуну, помогла ему очистить картошку, проследив, как он бросает её в рот, сказала как можно спокойнее:

— А вот волноваться нет никакой нужды. Вам вообще нельзя волноваться и забивать голову всякой ерундой. Надо думать о хорошем, тогда раны будут быстрее затягиваться. Не думайте о плохом, всё отбросьте и не принимайте ничего близко к сердцу.

Буркун вдруг отвёл руку Насте, начал сам чистить картошку, он медленно жевал, поглядывая на неё с недоверием.

— А вы вернётесь? — Он уставился на Настю. — Вернётесь? Сюда вернётесь с Шаплыко?

— А как же! Куда же нам возвращаться? Сюда и вернёмся. Честное комсомольское!

Почувствовала, что краснеет, — непроизвольно вспомнилось недавнее расставание с Грачом. Наверное, так же, как сейчас Буркун, смотрела на него! Наверное, так же злилась, таким же было её лицо, и Грач чувствовал то же, что она сейчас!

— Хорошо говоришь, — признался Буркун, но её слова не успокоили его...

Настя схватила котелок, выскочила из погреба. Около ручья стояла подвода, на ней лежал накрытый трофейной плащ-палаткой Вахтанг; из-под неё высывались желтые, как будто выструганные из сосновых поленьев, ступни босых ног; рядом с ним поблескивало острое лезвие лопаты.

— Ну, поехали, — Шаплыко дернул вожжи, подвода двинулась; желтоватые ступни шевельнулись, как будто Вахтанг потёр ноги. — А котелок оставь. Он нам не нужен.

— Воды в погреб занесу.

— А-а, тогда догоняй. И карабин прихвати...

Проехав по лесной дороге, Шаплыко остановился у высокой, раскидистой сосны, около которой вчера его встретила Настя. Наклонив голову, он что-то разглядывал на ладонях.

— Двенадцать, мамки-лямки! — Он не видел, что подошла Настя и наблюдает за ним. — Всего двенадцать спичек осталось — он подбросил коробок, на лету поймал и спрятал в правый карман и, взяв папиросу, со вкусом затянулся, привычно, разгоняя дым. — Надо где-то расстараться. Иначе — труба. Без огня и летом пропадёшь.

Какое-то время шли молча. Настя удивилась перемене, которая неожиданно произошла с Шаплыко. Куда делся тот жёсткий, беспощадный человек, который так строго вёл себя с Буркуном. И голос смягчился, и глаза подобрели, и губы не поджаты брезгливо.

Шаплыко докурил папиросу, бросил окурочек под ноги, носком сапога втоптал в песок. Поправив автомат, который висел за спиной, оглянулся:

— Следующий раз надо верхом гнать. Очень уж заметный след оставляем от колёс. Попадёт какому злыдню на глаза, возьмёт да к смолокурне и спикурует. Тогда пиши пропало...

...Неширокая полянка, в центре которой желтел люпин, открылась неожиданно. Люпиновый клин был огорожен с трёх сторон старыми жердями, большинство из которых перекошились и едва держались на замшелых скобоченных столбиках, почерневших, с белой, как соль, смолой на толстых сучьях.

Они остановились около молодой яблоньки-дичка, деревцо спрятало в своих ветвях столбики и словно поделило люпиновый клин пополам. Люпин начал цвести, но неровно, только посередине и на концах клина, который упирался в густой молодой сосняк, а дальше, как под шнурок, выстроились березки. За ними висело солнце, и его лучи, пробиваясь сквозь ветки широкими полосами, посекали люпиновый клин на жёлтые неровные латки, и они как будто качались, скользили по молодому сосняку. Дружно гудели пчелы, справа от яблоньки на цветке дикой вики хозяйничал толстый, лохматый шмель.

— Тут наш Вахтанг спать будет. Под яблонькой. Там, около смолокурни, груша-дичок. А тут яблонька. — Шаплыко на полный штык вогнал лопату в землю. — Песок славный... И тебе сейчас работу определю. — Он

повесил автомат на сук в жердине, отстегнул ремень с трофейным тесаком. Закатав рукава, кивнул головой на берёзы за сосняком. — Шуруй туда и нарви папоротника. На дно надо постелить. На голую землю человека нельзя класть. Закон такой!

Папоротник под берёзами рос густо. Ломая хрупкие стебли, Настя дошла до того места, где берёзы расплывались в густом сосняке, и повернула назад: руки едва держали огромную охапку папоротника.

Шаплько, стоя в неглубокой, до колена, могиле, похвалил Настю:

— Молодец, Настя, пожалуй, и хватит. Клади тут. И подскочи на угол сосняка. Понаблюдай. Там дорога, и, как я помню, насаженная. Мы тут работой заняты, а вдруг кого-нибудь принесёт. Не надо, чтобы на нас — неожиданно...

Настя пошла к густому сосняку, держа наготове карабин. Лес её уже не пугал. Деревья, посаженные человеком, были почти одной высоты и стояли ровными полосами, поделенные узкими коридорами. По одному из них, поросшему дикой викой, она прошла шагов пятьдесят.

Посадки окончились неожиданно. Открылась песчаная дорога, довольно широкая, и колёсный след на ней был совсем свежий, как будто кто-то только что проехал по ней. От порыва ветра зашумели берёзы, высоко поднявшиеся над сосенками, таинственное эхо прокатилось по зелёной гуще. Настя испуганно вематривалась в тёмные густые ветки, потом резко повернулась и бросилась бежать назад. Шаплько стоял на коленях около жёлтого холмика и стелил папоротник на дно могилки. Он сделал знак рукой, чтобы шла к подводу.

Настя приближалась медленно, как бы оттягивая тот момент, когда придётся положить мёртвого Вахтанга в могилу. Шаплько ждал её около подводы, поставив ногу на обод колеса.

— Там, на дороге, след. На колёсах ехали.

— Если один след, это наш.

— Свежий, совсем свежий!

— Наш, я тебе говорю. Той дорогой мы Черкаса везли. — Шаплько взялся за конец плащ-палатки. — Ну, бери. Понесли.

— Как же хоронить без гроба?

— А вот так, как видишь. Что, мамки-лямки, не проходила в своём институте похоронную науку? То-то же! Смелее, говорю тебе, смелее! Мне одному не поднять... Мёртвые всегда тяжелее, чем живые... Смерть, проклятая, получается, больше весит...

— Всё! Теперь подтяни, подтяни немного, — скомандовал Шаплько.

Настя медлила. Руки не слушались, они были словно ватные, и он, подскочив к ней, выхватил из рук концы плащ-палатки, да с такой силой, что едва не содрал кожу с пальца, который она не успела выдернуть из железного, заперёванного в брезент кольца. Собрав концы плащ-палатки в толстый узел, Шаплько рывком дёрнул его. Мелькнули ступни босых ног, похожие на выжженные солнцем поленья, и тело Вахтанга скользнуло в могилу и глухо легло на дно.

“Босой Вахтанг... Так хоронить нельзя”...

Настю ещё там, около ручья, потрясли его желтоватые ступни. Но теперь эти босые ноги просто ошеломили её. Может, точно так же окончится и её жизненная дорога. Кто-то выроет могилу, столкнёт туда, потом точно так же, как сейчас Шаплько, отбросит, отряхнёт плащ-палатку, и она будет лежать на люшине или траве огромной бабочкой, потихоньку покачиваясь, словно живая. Кто-то прикроет папоротником и потом засыплет песком...

Шаплько поднял с травы ремень, закинул автомат за плечи. Вытянув тесак из ножен и, подбрасывая его на руке, направился к берёзе, около которой стояла подвода.

— Не бедуй! Мы сейчас ему памятник поставим. Потом двинемся дальше. Может, за добрую нашу заботу небо нам улыбнётся.

Настя работала старательно, давая понять Шаплько, что она не такая и слабая, что сила у неё есть. Но вскоре устала, дуло карабина больно задело ухо, и тогда из глаз полились слёзы. Она не старалась их сдерживать,

а только слизывала солёную горечь с губ и с отчаянным упорством продолжала взмахивать тяжёлой лопатой.

— Пусть пока такой памятник стоит, — Шаплыко воткнул в мягкий холмик заострённый берёзовый столбик. — Надо ещё надпись сделать. Чтобы люди знали, кто здесь похоронен. После войны тем, кто погиб, я бы золотой памятник поставил. Наверняка так и будет. — Он поднял с люпина плащ-палатку, стряхнул её, какое-то время смотрел на столбик, тяжело вздохнул, опустив голову:

— Спи, дорогой Вахтаг... Больше мы с тобой не врежем: “Кульгана бу-ли, буль-були...” Пусть будет тебе пухом земля. А завет твой мы исполнили, на поле лежишь, как просил. И солнце на тебя смотрит.

Положив лопату на телегу, Шаплыко снял со столбика вожжи, выехал на лесную дорогу, приказал:

— Давай садись...

Она отказалась, и Шаплыко хмыкнул:

— Ты что, пешком собираешься идти? Ещё километров восемь пылить, может, и больше. Конь отдохнул, дотянет.

Настя обошла воз и села спиной к Шаплыко, он сразу дёрнул вожжи.

— Н-но-о! Теперь к людям, неженка, к людям. В лесу, мамки-лямки, хорошо. Но не сладко.

— Впереди, кажется, посветлело. Не иначе, лес кончается. За березняком, наверное, поле...

— Если впереди светлее, то и жить веселее. Даже Белячок наш настроился. И-ишь, как головой трясёт. Вправо берём, вправо.

Шаплыко дёрнул вожжи, направляя коня с дороги в реденький березняк. Спрыгнув на землю, схватил коня за уздечку и так шёл, держа направление к раскидистому, как шатёр, орешнику. Настя тоже спрыгнула, пошла следом за возом и вдруг вскрикнула, увидев справа от орешника в прогалине между молодыми берёзками жёлтую волнистую полосу:

— Поле вижу. Ржаное поле!

Шаплыко это открытие, как ей показалось, не удивило, будто знал давно, что сюда, к берёзовой опушке, подступает ржаное поле.

— Колхозная рожь. Слева должен быть ручей. А дальше — деревня. Называется Залесье. В ней та аптека, как шатёр, орешнику. Настя тоже спрыгнула, пошла следом за возом и вдруг вскрикнула, увидев справа от орешника в прогалине между молодыми берёзками жёлтую волнистую полосу:

— Нет у меня часов. Я их в погребе оставила.

Шаплыко скривил губы:

— Паникёр тот, знаю, выпросил, чтобы время знать. Ведь так? Только не спрашивай, откуда Шаплыко об этом узнал. Тихо-тихо... Как будто кричит кто-то. Слышишь?

— Кажется, петух кукарекнул.

— Петух потом, а перед этим? Тут, мамки-лямки, ухо трубкой надо скрутить. И в боевой стойке быть, чтобы сразу — в лес мотнуть, если что не так...

Шаплыко повернул коня головой к лесу и, замотав вожжи за ствол старой и очень неровной, с выгибом около самой земли орешины, снял с груди автомат.

— В рожь заскочу. Оттуда, с пригорка, деревня — как на ладони. Твоя задача обеспечить мне тыл. Без меня — никуда, поняла?

Оставшись одна, Настя облокотилась на тёплое сиденье и настороженно прислушивалась. Невыразительно, как будто загудел шмель, зарокотал мотор машины и тут же заглох в ленивом шуме берёзовой листвы, что таинственно лопотала над головой. Далеко бухнул одиночный выстрел из винтовки. Настя мгновенно схватила карабин, который перед этим беспечно положила на подводу рядом с плащ-палаткой, сложенной четырёхугольником.

— Отставить оружие! Свои идут, — прозвучал весёлый голос Шаплыко, вскоре он и сам, шумно раздвигая в стороны ветки орешника, выполз из зелёного укрытия.

— Кто-то стрелял. Очень далеко, правда.

— То, что далеко, нас не касается. А то, что близко, — мирно спит, как

я посмотрел: ни души не заметил в Залесье. Стоят дома, как нарисованные, а людей нигде не видно. Как будто вымерла вся деревня. И вот что я подумал. Заповедь предков исполнили — Вахтанга схоронили. Теперь направимся в это Залесье. А там, как мне думается, не очень-то нас ждут. На нашего брата военного теперь искоса смотрят. Так и справедливо: кинули людей немцам в лапы. А теперь сала и хлеба у них требуем!

Лицо Шаплыко резко изменилось: брови сдвинулись, глубокие складки прорезались от губ к носу, от этого он выглядел неприветливым и суровым.

Шаплыко вытянул из-под сена военную фуражку с зелёным околышем.

У Насти даже заняло дыхание. Это же фуражка Грача!

— Откуда у тебя эта фуражка?

— Нашёл в лесу. Грач не взял. Раз нашёл, сказал, так и носи на здоровье. Удивляешься, вижу?

— Ну, — призналась она.

— К людям же идём. Потому и надел, чтобы видели: форма! Это сейчас очень важно. Поступаем, значит, таким макаром: вначале я пойду, если всё тихо — подаю тебе знак. Руку поднял — одна идёшь. Если обе — на коне гонишь. — Он деловито смёл хлебные крошки с плащ-палатки на ладонь, сыпанул в рот. — Не перепутаешь?

— Не перепутаю.

Настя не сердилась на Шаплыко, хотя и видела, что тот ведёт себя уж больно по-командирски, подчёркивая во всём своё превосходство.

Ощущение лёгкости, уверенности не прошло и тогда, когда она осталась одна на краю ржаного поля, около узкой кучи камней, густо поросшей молодым осинником и кустами лозы. Наверное, несколько лет сюда свозили и сваливали со всего поля камни. Земля густо поросла травой, и молодая лоза тут цешко взялась, гнала вверх гибкие тонкие ветки, усыпанные сочными листьями. От ветра нежные ветки качались, закрывали дом под новой гонтовой крышей, к которой, пригибаясь, но не очень и таясь, двигался Шаплыко.

Ветер гонит по ржаному полю рыжеватые волны. Крупные, тяжёлые колосья медленно и важно склоняются, приподнимаются, и мягкий их шелест глушится в листве молодого осинника. Настя дёрнула колосок. Стебель был сильный и вырвался из земли вместе с корнем. Она вылущила на ладонь зеленоватые зёрна, бросила в рот. Они легко раздавились, превратились в сладковатую, тёплую мякоть.

Потянулась за другим колоском, и в этот момент её глаза выхватили движение около дома. Это же Шаплыко стоит на крыльце и машет обеими руками. Всё, значит, в порядке. Надо ехать на подводе!

На штабеле, свернутом торцом к улице, сидел Шаплыко. Напротив стояла пожилая женщина в длинной чёрной юбке и выцветшей, без пуговиц, старой, полинялой одежке, похожей на военный бушлат. Она держала в руках булку хлеба и пучок молодого лука. Двор густо зарос подорожником, сероватым, словно присыпанным пеплом. В неглубоком корыте клевали зелёную травяную сечку рябенькие цыплята. Немного поодаль купалась в песке чёрная курица. Рядом с ней, словно сторож, стоял длинноногий петух. Увидев Настю, входившую в ворота, он внезапно и резко заорал: “Куд-куд, куд-куда!”

Настино приветствие — она на секунду приостановилась в воротах — испугало хозяйку. Бросив настороженный взгляд на Шаплыко, словно прося прощения, женщина заговорила торопливо, и разговор этот был адресован не ему, а скорее новому человеку, так неожиданно появившемуся во дворе:

— А больше — простите... Хлебом теперь не больно разживёшься. Из продмага Галька всё вывезла, так что свеженького хлебца не из чего спечь. Мне, слава Богу, братова жена помогает. На станции живёт, так ей кое-что перепадает.

Шаплыко взял из рук женщины булку хлеба, пучок лука, положил на жёлтую, не прикрытую рубероидом шалевку и незаметно подмигнул Насте:

— Так, значит, продавица из магазина, Галька та, ночью всё из продмага и выгребла?

— Подчистила, детки мои, подчистила. Завтра немцам прийти, а мы ночью побежали в магазин, а там уже пусто.

— А как фамилия продавщицы? — спросила Настя первое, что пришло в голову.

— Это не горит, фамилию мы сами потом узнаем. — Шаплыко перебил Настю, хотя было видно, что вопросом Насти остался доволен, и посмотрел на хозяйку уважительно и ласково. — О чём ещё я хотел бы вас спросить, извините, что мы только и делаем, что просим помочь. Может, у вас есть бумага, и найдётся какой карандаш.

— Нам за деньги. Мы заплатим. Деньги у нас есть!

Настины слова хозяйка оставила без внимания и быстренько пошла в дом. Настя заметила, что на деревянном крыльце хозяйка бросила беспокойный, тревожный взгляд на улицу.

— Кажется, жить будем богато, — проговорил Шаплыко весело, как только фигура хозяйки исчезла в доме. — Ты обратила внимание, как она старается побыстрее выпереть нас со двора?

— Она почему-то нас боится.

— Побаивается... На станции немцев полно. Сегодня утром трёх раненых наших забрали в деревне — какой-то гад шепотнул! — в машину поскидывали, как бревна — и за колючую проволоку. А всех мужчин на станцию погнали — грузить вагоны.

— Почему же мы тогда расселись здесь и беду ждём?

Шаплыко неожиданно развеселился, даже громко расхохотался:

— То же мне и женщина говорила... Не болтайся, мол, детка, по деревне. Что им, немцам, тяжело со станции на машине сюда жигануть?

— А сколько до станции?

— Километра два... С гаком, правда.

— А что на фронте слышно? — спросила, пытаясь не выдать своего смущения.

— Глухо. Ничегошеньки женщина не знает.

— Трудно поверить, чтобы в такой большой деревне никто радио не слушал. А если один послушал — новости по всей деревне разлетятся.

— Наивный ты человек, Настенька. Во всём Залесье был один-единственный приёмник — у председателя колхоза. Приёмник под обух пошёл, а председателя немцы к стенке поставили. Они днём тут орудовали, а вечером — мы с Лабуком по деревне катили. — Шаплыко перегнулся через забор, посмотрел на улицу, где слышались и затихли голоса, словно всплеск какой-то знакомой мелодии...

— Или он, или я — в рубашке родились: какое-то мгновение нас тогда спасло — разминулись с немцами.

— Что-то хозяйка долго копается. О чём ещё интересном она рассказывала? Хотя что-нибудь она знает, ведь не в лесу же живёт.

— Может, и знает. Да говорить не хочет. О чём с удовольствием рассказывала, так это про объявление, что висит на здании бывшего правления колхоза. Порядок новой жизни там объявлен: колхозный хлеб — не трогать, скот колхозный и совхозный — не трогать, машины и собственность — не трогать... Всё это, мол, принадлежит Германии. Запрещается помогать красноармейцам. Если кто увидит — должен немедленно сообщить властям. За невыполнение — расстрел на месте.

— Плевать я хотела на их приказы!

— Плевать — легко. А вот если бы на тот приказ да нашу резолюцию нарисовать, — Шаплыко запустил руку под фуражку, поскрёб пятернёй голову. — Значит, план у меня такой созрел. Если только удастся, рискнём...

— То, что нам надо, хозяйюшка, — сказал он, беря из рук женщины синюю школьную тетрадь и жёлтый погрызенный карандаш, заточенный с обеих сторон. — Настенька, плати грошики.

— Спрячьте, детки, вы свои грошики. Сыну причиндалы эти школьные ни к чему — в этом году Владка седьмой окончил. И ведь хорошо учился, скажу я вам. — Лицо женщины подобрело, и вся она как-то засветилась изнутри. Только в серых глазах под длинными дугами бровей жила прежняя тревога. — Всё мне говорил: “Выучусь, мама, ты около коровы ходить и навоз на ферме месить не будешь — сам деньги зарабатывать пойду”. А оно



вон куда повернулось — балки немцам грузит. Некоторые удрали, когда немцы облаву тут делали. А он скромный и не очень смелый. Вот его — первого — за шкуру.

— Вы своему парню скажите, чтобы не очень усердствовал на фашистов, — посоветовал Шаплько. — В восьмой класс пойдёт, так пальцем будут в него тыкать. И в комсомол не примут. А может, он комсомолец? Тогда тем более...

— Кто же на них, поганцев, старается, деточки вы мои! Они же силой тут загон устроили. И вчера, и позавчера, и сегодня, — запричитала женщина.

— Немцы тут роскошествовать долго не будут, — уверенно сказал Шаплько, он делал вид, будто ему очень приятно, что нашёл время поговорить с хорошим человеком. — Получат хорошего пинка, и — домой. Попылят без оглядки, да ещё им подмажем пятки, как говорится. — Он сгрёб лук, положил на булку хлеба, вручил Насте. — А за хлеб и цибульку — спасибо. Имейте в виду, хорошие дела никогда не пропадали и не пропадут. Вы это сами знаете, не хуже нас. И ваша помощь на нашу победу будет работать...

Вслед за Шаплько и Настя пожала руку хозяйке. Пальцы женщины были твёрдые и коричневые от молочной и одуванчиков.

— Возьмите деньги... Нет, правда, возьмите.

Что-то или в её голосе, или во взгляде сильно растрогало хозяйку, и она задержала Настину руку, когда та потянулась в карман кофточка за деньгами.

— Не трогай ты их! Не надо... — Она прижала Настю к себе, поцеловала. — Пусть тебе повезет, дитяtko мое. Пусть мать тебя встретит живой и здоровенькой...

— Благодарю вас... От души, — голос Насти прозвучал глуховато — в горле появился и застрял, затрудняя дыхание, комок. — Благодарим вас за всё...

В шестом по счёту доме, который стоял немного на отшибе, были раскрыты и окна, и двери, покрашенные в синий цвет. В палисаднике, отгороженном от улицы плотным заборчиком из рыжих, заботливо обструганных досок, зеленели два пышных куста жасмина, и между ними высокими свечками росли мальвы с сочными листьями — по две напротив каждого окна.

Шаплько дёрнул вожжи, направляя коня к палисаднику, заметив тихо, но бодро и возвышенно:

— Сейчас будем знакомиться с Егорихой. Она же Галька по фамилии Мирончик.

— А нико и не видно: попрятались хозяева, увидев нас.

И как будто в ответ на замечание, взвился весёлый, залихватый мужской голос: “И она, закрывши очи, ни жива, а ни мертва...”

К мужскому голосу присоединился густой, сочный женский. Шаплько оживился, спрыгнул с воза:

— Ну вот, а ты говоришь, попрятались! Пируют!

Связав петлей вожжи, Шаплько зацепил их за жердину, закинул за плечи карабин, обтянул под ремнём гимнастёрку и, молча кивнув головой Насте, уверенно открыл узкую калитку, что прилепилась к столбу высоких и плотных ворот.

Настя вошла следом за Шаплько во двор и смутилась от уюта и безмятежности, которые царили в нём, всё говорило о домовитости и сытости зажиточности хозяев. Дорожка, выложенная по краям красным кирпичом, шла вокруг дома; напротив террасы, выкрашенной в тот же цвет, что и окна дома, ярко-зелёной полосой лежала недавно скошенная трава, слева от этой полосы зеленели на высоких грядках лук и фасоль. Под яблоней, за низким, длинным столом, сидели двое мужчин и женщина. Мужчины расположились на широкой деревянной лавке, которая одним концом нависала над низкорослой, лопушистой фасолью, а женщина, молодая, с сочными грудями, которым было тесно под желтоватой, с короткими рукавами, кофточкой — роскошествовала в торце стола, в старом коричневом кресле из лозы.

— Господам — наше почтение!

Басовитое приветствие Шаплыко словно скосило песню. От порыва ветра скрипнули открытые двери террасы, ручка их ударилась о деревянную стену, и стеклянная банка, что висела на зубе бороны, тоненько и жалобно звякнула.

— Добрый день, — ответила женщина. Она даже не приподнялась, вначале вопросительно глянула на мужчин, которые сидели за столом, а потом на неожиданных гостей.

— Мы к Гале Мирончик.

— Перед вами она и есть, — сказала женщина и поправила светлые подвитые волосы, а потом, опустив руку, задержала её на остром подбородке, серые глаза смотрели больше с любопытством, чем со страхом.

— Шаплыко. Выполняя приказ коменданта хозяйственного взвода шестого полка особого назначения. — Шаплыко, козырнув, сел на короткую деревянную лавку напротив мужчин и положил снятую фуражку слева от себя. Хлопнув ладонью по столу, приказал садиться и Насте. Карабин поставил на землю, зажав его коленями; дуло торчало над столом, упираясь мушкой в край эмалированной тарелки, на которой было нарезано сало.

— Пожалуйста. Чем богаты, как говорится, тем и угощаем, — женщина оживилась, и на её лице засветилась деланная вежливая улыбка. — На обед как раз собрались. Бульбочка у нас с мясом. Редисочка, салат свежий. Цибулька...

Но Шаплыко настойчиво вёл своё:

— По сведениям, которые мы имеем, вы припрятали — и, между прочим, разумно сделали! — продукты из магазина, в котором работали продавщицей. Теперь продукты будут конфискованы на нужды нашего полка. Передачу продуктов оформим документально...

— Налей нашим гостям, Яночка, — женщина повернулась на стуле, коснулась плеча мужчины в коричневой рубашке. Мужчина, крупный, с чёрным скудлачным чубом и мясистым носом, буркнул, как в бочку:

— А холеру им. О таких гостях загородка на станции плачет. И-ишь, смелый какой появился и пукалку свою наставил! Чего ты из неё на границе не пукал? Почему твой полк особого назначения землю свою не защищал? Почему немца вглубь России запустил? Хе! Ты посмотри на этот полк, Стас!

Стас был полной противоположностью Янке — мелкие черты лица, тонкий, как будто срезанный, кончик носа, редкие светлые волосы, гривка прилипла ко лбу над правой бровью куцым хвостиком.

— Галечка права, — голос его был тоже полной противоположностью голосу толстяка — сладострастный, тонкий. — Солдат устал, солдатский хлеб бурлацкий. Разве он виноват, что комиссары их обманули? “Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим...” А в чём солдатик этот виноват, когда все бегут очертя голову? А что, солдатик виноват, когда жида всё продали? Но немец порядок везде наведёт. Немец порядок любит...

— По закону военного времени за такие разговорчики — расстрел на месте, — Шаплыко дулом карабина сдвинул миски на середину стола, на освободившееся место бросил тетрадь и, переложив деньги на обложку, вырвал лист, разлинованный синими линейками, начал что-то писать карандашом.

— И откуда ты вылунился, такой расстрельщик? — Толстяк схватил нож и вонзил его в край стола; лезвие закачалось, зазвенело. — Комендант шестого полка... Ха-ха! Комендант полка свалился с потолка. Что ты трубишь? Нет никаких полков. В плен все попадались. Вместе со Сталиным.

— Молчать! — Шаплыко — лицо его налилось кровью — с такой силой ударил кулаком по столу, что подпрыгнули миски. — Чтобы больше я не слышал этого поганства! Предупреждаю последний раз. — Шаплыко перегнул вдвое страницу и протянул её продавщице. — Это вам даётся расписка. В соответствии с ней мы реквизируем часть продуктов. Берём сахар, крупу, макароны. А точнее определим, когда посмотрим, что у вас припрятано...

— Ну, смехота... Расписка... — Галечка скривила губы. Но лист взяла, посмотрела и бросила на середину стола. — А где мне эти продукты взять? Рожу я вам сейчас эту крупу и макароны?

Толстяк глянул на Стаса, нижняя губа у него отвисла, сделалась похожей на кусок оладки.

— А если бы и хотела, не родишь, — толстяк вытянул нож с края стола, бросил его на расписку. — И криком своим ты ничего не добьешься. Мы — люди. Они — тоже. И потому сделаем так: — Он пододвинулся к продавщице и, наклонившись над столом, стал складывать в миску куски хлеба, кладя на каждый ломтик сала. — Какие продукты есть — ими и поделимся. И пусть человечки шуруют дальше. А куда, с кем, с чем, к кому — нас это не касается.

— Подготовьте транспорт, — подчёркнуто официально попросил Шаплько Настю и, свернув тетрадь трубочкой, вложил в неё карандаш и положил в карман.

Настя поднялась, сразу сообразив то, о чём Шаплько вслух не произнёс. Надо бежать за автоматом, потому что, по всему виду, хорошей ссоры на этом дворе им не миновать.

Толстяк задержал её, взяв в руки миску, попросил глухо, косясь на Шаплько:

— Неси себе, дочушка. В дороге пригодится, потому что сегодня никто тебе не расщедрится на еду. Иди, иди, не стой тут. А мы тем временем с бравым командиром говорить будем о том, что в мире делается. Тут, около станции живя, то-сё мы слышали...

— Мы слышали тоже, уши имеем. И поэтому приказываю: упаковывайте продукты, которые вы взяли из государственного магазина, товарищ Мирончик. — Шаплько разговаривал с продавщицей, игнорируя замечания толстяка. — Где они? — И вдруг строго глянул на Настю. — Я же вам приказал: приготовьте транспорт.

Настя шла медленно, ноги неприятно дрожали. За спиной, парализуя её волю, звучал голос толстяка.

— Твоё право, бравый комендант, приказы отдавать — тю-тю! Галя! Садись на место. А этот приказ туда. — Толстяк смял бумагу, на которой Шаплько писал расписку, и швырнул в Настю; бумажка описала круг, упала к её ногам. — А ты пукалкой не шевели! Не шевели, говорю. Ну, выстрелишь, если заряжена. А дальше? Немцы со станции на машинах прикатят — пискнуть не успеешь. Там, на станции, таких, в гимнастёрчках, даже комсоставовских — полносенько. В загородке за проволокой. И твой полк, о котором ты тут рассказывал, — тоже там! Он ещё трибуналом угрожает. Да через неделю-другую — об этом трубят на станции с утра до вечера! — Гитлер въедет в Москву на белом коне. А Сталин твой уже за Урал драпанул. Бежит где-то, язык высунув...

Толстяк быстрым движением выбросил перед собой правую руку; блеснул нож, он как будто пробил поясицу Шаплько навыллет, и тот полетел на землю вместе с лавкой. Толстый бросился на него, но Шаплько изловчился, крутанул карабином, как будто подкинул свою фуражку, которая перед этим красным мячиком вспорхнула в воздух, и толстяк завис, распластавшись, на перевёрнутой лавке. Шаплько перевернулся, вскочил, клацнул затвором.

— К стене, сволочь! — просипел он яростно. — Ты, гнида фашистская!

Настя, спиной к улице, отступала к воротам и, широко раскрыв глаза, смотрела, как Шаплько дулом карабина подталкивает толстяка к стене террасы. Широкая доска ткнула в спину, и тогда Настя отбросила плащ-палатку, схватила автомат и метнулась назад, во двор.

Шаплько кивнул похвально:

— Правильно! Продавщицу и этого Стаса держи на прицеле. Если что, секи сразу!.. Вот же гад, — Шаплько покрутил дырку на гимнастёрке, словно удивляясь, откуда тут она: — Кажется, и кожу ножом зацепил... Ну, и я сейчас вам кровь выпущу.

Продавщица отчаянно завопила, и голос её перешёл в тоненькое повизгивание:

— Я не виновата! Я не виновата!

— Молчать! — гаркнул Шаплько, продавщица смолкла, словно подавилась.

Шаплыко шёл за толстяком, пригнувшись, зло ощерившись:

— На солдата Красной Армии с ножом? Врёшь, гнида фашистская! Москву уже похоронил! Её никогда никто не похоронит! Москва — вечная! Повтори, гад!

Толстяк остановился около терраски, как раз между банками, что висели на зубьях бороны, смотрел зверовато исподлобья.

— Я что тебе сказал? — с угрозой спросил Шаплыко и нажал на спуск. Выстрел раздался оглушительный. Блестящей пылью рассыпалась разнесённая пулей банка.

— Вечная она... Вечная она...

— Кто? — в голосе Шаплыко послышалась прежняя угроза.

— Сам же сказал: Москва.

— Вот это уже другой коленкор, мамки-лямки! Я вас научу свободу любить!

— Галечка, Яночка! Родненькие, отдайте им всё, — надрывно заголосил Стас и быстро, как по намыленной доске, съехал на конец лавки. — Отдайте им и мою долю. Всё отдайте. Наживём. Государственное пусть государство и берёт...

— Москва вечная. Вечная, вечная она, — Стас выбежал на середину двора. — Кипучая, могучая... Ты — самая любимая... Как в песне нашей...

— С этой песней и живи. А теперь подымай, — Шаплыко ткнул пальцем на скомканную бумажку, что лежала на густом, придавленном к земле подорожнике. Подождал, когда тот поднимет бумажный комочек. — Разглядь. И отдай продавщице. Отдал? Молодец. Теперь иди в сад и наскуби цибульки. И чтобы перо было и головки. Штук пять хватит. И на всю работу — тебе пять минут... Да не тут, а там в садочке. Там цибулька погуще.

— Да, да, гуще. Я сейчас — мигом.

— Крупы немного есть. И сахар. И вермишелька, — деловито, как будто совсем и не голосила перед этим, проговорила продавщица, разглаживая бумажный лист, который поднял с земли и вручил ей Стас.

— Тебе тоже — пять минут. А куда нести, тебе покажут, — сказал Шаплыко и бросил Насте: — Проследи за ней.

В банке было темно, и Настя, войдя следом за продавщицей, осмотрелась не сразу. Но когда осмотрелась, удивилась: не иначе, в продовольственный склад попала. В одном углу стояли мешки, в другом — ящики, бочки, какие-то бумажные кульки, разных размеров клунки. Из-под балки в потолке продавщица вытянула серый мешок, встряхнула — пришитые с боков бечёвки крутнулись гадукой, — молча протянула его Насте. Так же молча и злобно она бросила два белых тяжёлых мешочка, потом три более тёмных, связанных лохматыми бечёвками, кинула сверху четыре бумажных свёртка, торопливо схватилась за два нижних угла и глухо сказала:

— Понесли.

В банке немного посветлело: на боку ящика, сплетённого из широких коричневых лучин, выразительно высветилось:

— Ма-ка-ро-ны!

— Они уже в мешке! Поднимай!

Согнувшись, Настя едва не выпустила связанный бечёвками тяжёлый мешок... Даже собралась было попросить продавщицу подождать, чтобы переменить руку и передохнуть.

Но та, волковато нагнув голову, упорно тянула куль и вместе с ним Настю. Когда мешок мягко шлёпнулся на воз, продавщица силло выдохнула:

— У-у-ух — всё.

Так же волковато, опустив голову, быстренько потопала во двор.

— Всё по ведомости? — спросил Шаплыко.

— Есть макароны в ящиках, — сказала Настя, как бы метя продавщице за то, что она не остановилась, чтобы передохнуть, хотя видела, что Насте очень тяжело. — Четыре ящика, кажется.

— Один — на воз. А лучше — два, — приказал Шаплыко продавщице, пальцем подозвал Настю к себе. — Графин под столом видишь? Около яблони в траве. Тоже прихвати. — И вдруг весело подмигнул Насте: — Просле-

ди, чтобы и третью коробку поставила. В полку макароны с салом всегда в почёте. — И, махнув карабином почти у самого носа толстяка, приказал: — А ну, пошёл в огород! Поможешь Стасу. Что-то он там долго копаётся.

Настя вытянула из-под стола пузатый, из синеватого стекла графин с деревянной пробкой, обмотанной марлей. Знакомо ударило в нос спиртом, и почему-то именно теперь, от этого запаха, у неё бешено забилося сердце. Надо бежать! Бежать, не теряя ни минуты. Уж больно расхрабрился Шаплыко. Ну вот, наконец, возвращается. Но почему взволнованный? И снова перед собой гонит толстяка. А того, в синей рубашке, нет. Неужели убежал? Не иначе как убежал.

— К стене, гад! — Шаплыко толкнул дулом карабина толстяка на прежнее место к стене террасы. — Где Стас? Немцев побежал звать? — Шаплыко резко вскинул карабин. — Считаю до трёх. Р-аз...

— Не убивайте! Не убивайте! — продавщица, бросив ящик с макаронами на воз, вскочила во двор и бухнулась на колени! — Всё вам отдала. Даже больше, чем в расписке написано!..

— Два-а, — протянул с нажимом Шаплыко. Толстяк, глядя поверх его головы, буркнул:

— Не я его в садок послал. Я же и слова тогда не вымолвил.

— Твоя правда. Мой грех, — сразу и как-то миролюбиво согласился Шаплыко, сделал шаг в сторону, к Насте, словно отстраняясь от продавщицы, которая приближалась к нему, вытянув перед собой дрожащие руки. Затем он наклонился, поднял нож, который лежал на песке, — это холодное оружие мы не оставим! И заруби себе на носу: наши отступили временно, чтобы взять хороший разгон. А если ты ещё когда-нибудь и кому-нибудь хотя бы одно поганое словцо скажешь о нашей армии и Москве... Или немцам о нас шепотнёшь — с твоими мозгами будет вот так...

Бухнул выстрел, и сверкающей пылью рассыпалась другая банка, что висела на зубе бороны по правую сторону от дверей.

Стоя уже у ворот, Шаплыко оглянулся, погрозил толстяку и продавщице пальцем:

— Государственные продукты не разбазаривать... Никуда и никому. А то, что я тебе сказал, повторишь Стасу. Понял?

От страха у толстяка оттопырилась нижняя губа, и он поспешно, как-то даже льстиво, мотнул головой — понял, мол, всё.

Сев на воз, Шаплыко фасонисто дёрнул вожжи.

— Теперь одно: аллюр три креста, — озабоченно оглянулся на дом с раскрытыми окнами:

— Автомат держи наготове. И по сторонам смотри внимательно. Где подсумок? Там тесак, сюда его положи.

Конь шёл скорой рысью. Подводу потряхивало на выбоинах не очень ровной деревенской улицы, по-прежнему пустой и притихшей. Настя изловчившись, вытянула из-под сбитой соломы тяжёлый спаренный подсумок, потом тесак, конец которого зацепился в щели между досок.

— А мне кажется, что нам назад надо повернуть, — Настя вцепилась в автомат, который все время подбрасывало, — на старую дорогу, чтобы не через всю деревню. А там — сразу в лес около ржи.

— На винокуренный завод подскочим.

— Рискованно.

— Теперь везде — рискованно. Но, во-первых, не хочется на глазах у людей убежать. Ты не смотри, что нигде ни одного человека — десятки глаз следят за нами. И потому пусть смотрят, что едем спокойно, как хозяева. Во-вторых, винокурня — за деревней: оттуда в лес скакнуть близко.

Конь мчал галопом, воз трясло, и хаты, казалось, не отпльвывают назад, а отскакивают, словно стараются быстрее спрятаться за лоснящиеся яблони, густо усыпанные созревающей крупной антоновкой.

*(Окончание следует)*